

Григорий Данилевский

# Сожженная Москва



*Часть сборника  
Княжна Тараканова (сборник)*



Григорий Данилевский  
**Сожженная Москва**

«Public Domain»

1885

**Данилевский Г. П.**

Сожженная Москва / Г. П. Данилевский — «Public Domain»,  
1885

Роман «Сожженная Москва» посвящен событиям Отечественной войны 1812 года.

# Содержание

Часть первая	5
I	5
II	7
III	10
IV	13
V	15
VI	18
VII	20
VIII	23
IX	28
X	32
XI	35
XII	38
Конец ознакомительного фрагмента.	40

# Григорий Данилевский

## Сожженная Москва

### Часть первая

### Нашествие Наполеона

*– Вот башни полудикие Москвы  
Перед тобой, в венцах из золота,  
Горят на солнце... Но, увы...  
То – солнце твоего заката!*

*Байрон. «Бронзовый век»*

## I

Никогда в Москве и в ее окрестностях так не веселились, как перед грозным и мрачным двенадцатым годом.

Балы в городе и в подмосковных поместьях сменялись балами, катаньями, концертами и маскарадами. Над Москвой, этой пристанью и затишьем для многих потерпевших крушение именитых пловцов, какими были Орловы, Зубовы и другие, в то время носилось как бы веяние крылатого Амура. Немало любовных приключений, с увозами, бегством из родительских домов и дуэлями, разыгралось в высшем и среднем обществе, где блистало в те годы столько замечательных, прославленных поэтами красавиц. Москвичи восторгались ими на четвергах у Разумовских, на вторниках у Нелединских-Мелецких и в Благородном дворянском собрании, по воскресеньям – у Архаровых, в остальные дни – у Апраксиных, Бутурлиных и других.

Был конец мая 1812 года.

Несмотря на недавнюю комету и на тревожные и настойчивые слухи о вероятности разрыва с Наполеоном и о возможности скорой войны, – этой войны не ожидали, и в обществе никто о ней особенно не помышлял.

В богатом московском доме шестидесятилетней бригадирши, княгини Анны Аркадьевны Шелешпанской, у Патриарших прудов, был многолюдный съезд столичных и окрестных гостей. Праздновались крестины первого правнука Шелешпанской. Прабабку и родителей новорожденного приветствовали обильными здравицами и пожеланиями всяких благ.

За год перед тем, в такой же светлый день апреля, в селе Любанове, подмосковной княгини, состоялась свадьба ее старшей внучки, веселой и живой Ксении Валерьяновны Крамалиной, с секретарем московского сената, служившим и при дирекции театров, Ильей Борисовичем Тропининым. Торжественно празднуя крестины правнука, княгиня имела и другую причину радости и веселья: ее вторая внучка, степенная и гордая Аврора Крамалина, также, по-видимому, наконец вняла голосу сердца. В доме княгини со дня на день ожидали ее помолвки с гостившим в отпуску в Москве «колонновожатым» (т. е. свитским) Васильем Алексеевичем Перовским, который сильно ухаживал за Авророй и был угоден княгине. Базиль Перовский был представлен Авроре – на последнем из зимних московских балов у Нелединских – мужем ее сестры, Ильей Тропининым, своим давним приятелем, товарищем по пансиону и по университету.

Гости княгини начинали разъезжаться. Уехал шестериком, цугом, старец Мордвинов, с распущенными по плечам пушистыми сединами; уехал в желтой венской коляске веселый князь Долгорукий, «prince Calembourg»<sup>1</sup>, как его звали; в английском тильбюри, в шорах, – виновник встречи жениха и невесты, Нелединский-Мелецкий; на скромных городских дрожках – издатель «Русского Вестника» Сергей Глинка и другие. Приемные и обширный, обсаженный липами двор княгини опустели. Остались ее родные и несколько близких знакомых, в том числе почтивший княгиню заездом и особым вниманием старинный приятель ее покойного мужа, новый московский главнокомандующий граф Раstopчин. Это был высокий ростом, еще крепкий на вид мужчина лет пятидесяти, с оживленными, умными черными глазами, узенькими бакенбардами, большим открытым лбом и громкою, подчас крикливою речью. Он ранее других гостей узнал от княгини, что поклонник ее второй внучки – тайный сын украинского магната, тогдашнего министра просвещения. Другим княгиня до времени об этом умалчивала.

Прощаясь с хозяйкой, Раstopчин с улыбкой указал ей на Перовского, в новеньком стянутом мундире почтительно стоявшего в стороне, и вполголоса заметил:

– Напрасно, однако, княгиня, ваша внучка медлит; женишок хоть куда: кончили бы, да тогда ему, с богом, хоть и к месту служения.

– Что вы, граф! из-за чего же торопиться? – ответила княгиня. – Аurore<sup>2</sup> так еще молода; ведь ей невступно восемнадцать: не перестарок еще, в девках не засидится... Все, мой хороший, в руках божиих. Да на днях уж и пост, и отпуск этого молодца на исходе. Обещает снова приехать после Успенья, в конце августа, коли будем живы... Тогда сватовство; тогда, если суждено, сыграем и свадьбу.

– Зовите, княгиня, мы – ваши гости! – сказал Раstopчин. – Только не затянулось бы дело для счастливец... Слышали, чай, толки о войне?

– Э, батюшка граф, где еще тот Наполеон! – ответила княгиня. – До нас ему далеко... надеемся же мы больше на московских чудотворцев да на ваше искусство, граф.

Раstopчин озабоченно оглянулся на присутствующих, надел перчатки и уже хотел откланяться, но, нахмурясь, опять сел возле княгини.

– Разве что знаешь нового? – тихо спросила Анна Аркадьевна.

Раstopчин молча кивнул ей головой. Княгиня обмерла.

– Да говори же, дорогой, говори! – прошептала она, растерянно ища в ридикюле флакон со спиртом и поднося его к своему носу.

– Здесь не место, – ответил ей граф, – заеду завтра.

– Нет, родной, сегодня вечером; не мори ты меня, дуру попову; ведь знаешь – я трусиха.

– Но у вас гости, наверное, будет бостон, а я, вы знаете, до карт не охотник.

– Ах, не нападай ты на карты, говорю тебе; помни слова Талейрана: кто не привык играть в карты в молодости, готовит себе печальную старость. Итак, до вечера; приму тебя одна.

– Постараюсь.

---

<sup>1</sup> «Князь Каламбур» (франц.).

<sup>2</sup> Аврора (франц.).

## II

Граф Растопчин сдержал слово. В тот же вечер княгиня приняла его в своей молельне. Эта комната, как знал граф от других, служила ей запасною спальней и, вместе, убежищем во время летних гроз. Растопчин с любопытством окинул взглядом убранство этой комнаты. Оконные занавески в ней, обивка мебели, полог, одеяло, подушки и простыня на кровати были из шелковой ткани, а кровать – стеклянная и на стеклянных ножках. Даже вывезенный княгинею из Парижа и здесь висевший портрет Наполеона был выткан в Лионе на шелковом платке. Растопчин застал княгиню на кровати. Две горничные держали перед нею собачку Тутика, на которого третья примеряла вышитую гарусом попонку. Взяв Тутика и отпустив горничных, Шелешпанская указала графу кресло.

Высокая, в пудренных буклях и белая, точно выточенная из слоновой кости, княгиня Анна Аркадьевна была представительницей старинного, угасавшего в то время княжеского рода, в котором не она одна славилась смелым умом и властною красотой. Матери, указывая на нее дочерям на балах, обыкновенно говорили: «Заметила ты, *ma sœur*<sup>3</sup>, эту высокую, худую старуху? Она недавно из Парижа. Будешь идти мимо, присядь, а не то и ручку поцелуй. Пригодится».

Растопчин в молодости видел и на опыте узнал обольстительное владычество знатных барынь XVIII века, в том числе и княгини, за которою на его глазах все так ухаживали. Его тогда не удивляло общее сознательное и благоговейное покорство этим законодательницам моды. Теперь он над ними, в том числе и над княгинею Шелешпанскою, в душе посмеивался.

Он трунил над тем, что княгиня, жившая долго в Париже, донине пудрилась «*à la neige*»<sup>4</sup>, причесывалась «*à trois marteaux*»<sup>5</sup> и носила платья модных цветов – «*couleur saumon*»<sup>6</sup> и «*hanneton*»<sup>7</sup>. Граф по поводу некогда пылкой, но стойкой и чопорной княгини даже выразился однажды, что у Данте в его «Аду» забыто одно важное отделение, где светские грешницы ежечасно мучатся не сознанием своих грехов, а воспоминанием того, как в жизни не раз они могли негласно и незаметно согрешить и не согрешили – из трусости, гордости или простоты.

Некогда поклонница Вольтера, Дидро и мадам Ролан, княгиня теперь, на старости лет, заслышав над домом даже слабый удар грома, без памяти спешила в свою молельню, зажигала у образов лампы и свечи, наскоро надевала на себя все шелковое и ложилась под шелковое одеяло, на шелковую постель. Не помня себя от ужаса, она кричала на главную свою экономку, горничных и приживалок, чтоб запирали все ставни и двери, приказывала им опускать на окна шелковые гардины и, лежа с закрытыми глазами, то и дело вздрагивая, повторяла: «Свят, свят! Осанна в вышних!» – пока кончались последние раскаты грозы.

«Любит, старая, жизнь, – подумал, усевшись против княгини, Растопчин, – да как ее и не любить! Пожила когда-то. Теперь она одна, состояния много... А тут надвигается гроза! Нет, матушка, не спасут, видно, никакие стеклянные кровати и никакие шелки».

– Что же, дорогой граф, – держа на коленях собачку, встревоженно, по-французски, обратилась к гостю Шелешпанская, – неужели правда быть войне?

По-русски княгиня, как и все тогдашнее общество, только молилась, шутила либо бранилась с прислугой.

---

<sup>3</sup> Дорогая (*франц.*).

<sup>4</sup> До белизны снега (*франц.*).

<sup>5</sup> В три локона (*франц.*).

<sup>6</sup> Светло-розового цвета (*франц.*).

<sup>7</sup> Цвета майского жука (*франц.*).

– Мы с вами, Анна Аркадьевна, наедине, – начал граф, – как старый приятель вашего мужа и ваш, смею повторить, всегдашний поклонник, скажу вам откровенно, дела наши нехороши... Бонапарт покинул Сен-Клу и прибыл по соседству к нам, в Дрезден; его, как удостоверят «Гамбургский курьер», окружают герцоги, короли и несметное войско.

– Да ведь он только и делает, что воюет; в том его забава! – возразила княгиня. – Может быть, это еще и не против нас...

– Увы! государь Александр Павлович также оставил Петербург и поспешил в Вильну. Глаза и помыслы всех теперь на берегах Двины...

– Но это, граф, может быть диверсия против наших соседей? Все не верится.

– Таких сил Бонапарт не собрал бы против других. У него под рукой, – газеты все уже высчитали, – свыше полумиллиона войска и более тысячи двухсот пушек; один обоз в шесть тысяч подвод.

Княгиня понюхала из флакона и переложила на коленях спавшую собачку.

– И вы думаете, граф? – спросила она со вздохом.

Граф Федор Васильевич скрестил руки на груди и приготовился сказать то, о чем он давно думал.

– Огненный метеор промчался по Европе, – произнес он, – долетит и в Россию. Я не раз предсказывал... Мало останавливали венчанного раба, когда он, без объявления войны, брал другие государства и столицы; увидим его и мы, русские, если не вблизи, то на западной границе наверное.

– Кто же виноват?

Растопчин промолчал.

– Но наше войско, – сказала княгиня, – одних казаков сколько!

– Благочестивая-то, «не бреемая» рать, бородачи? – произнес Растопчин по-русски. – Полноте, матушка княгиня, не вам это говорить: вы так долго жили в Европе, столько видели и слышали.

Польщенная княгиня забыла страх. Ей вспомнился Париж, тамошние знаменитости, запросто бывавшие у нее.

– Моя парижская знакомая, мадам де Сталь, представьте, граф, – произнесла она, – уверяет, будто Бонапарт – полный невежда, грубиян и отъявленный лжец. Не чересчур ли это? Я не так начитанна, как вы, что вы на это скажете?

– Сущая правда, – ответил, склонясь, Растопчин, – Наполеон и Меттерниха считает великим государственным человеком только потому, что тот лжет ловко и хорошо. Я давно твержу, но со мной не соглашаются, Бонапарт – изменная, завистливая душонка, ни тени величия. По воспитанию – капрал; настоящее образование почти не коснулось его. Он ругается, как площадная торговка, как солдат; ничего дельного и изящного не читал и даже не любит читать.

– Но мадам Ремюза, я у нее видела его... она хоть пренапыщенная, а умница и в восторге от него...

– Еще бы, дочь его министра! О, это новый Тамерлан... Ему чужды высокие движения сердца и узы крови, а вечная привычка притворствоваться и рисоваться вытравила в нем и остатки правды. Да что? По его собственному признанию, обычная мораль и всеми принятые приличия – не для него! А недавно он выразился, что он – олицетворение французской революции, что он носит ее в себе и воспроизводит; что счастлив тот, кто прячется от него в глуши, и что, когда он умрет, вселенная радостно скажет: уф!

– Но за что же, за что он против нас? – спросила встревоженно княгиня.

– Уж сильно его баловали в последнее время, а потом отказали в сватовстве с великой княжной Екатериной Павловной: вот за что. А ведь он гений; по приговору газетчиков и стихоплетов – неизбежная судьба услужливой Европы... Как можно было так поступить с гением?

Вот он теперь и твердит перед громадой Европы: Россия зазналась; отброшу ее в глубь Азии, дам ей пережить участь Польши. По совести, впрочем, сказать, я убежден: мы не погибнем.

– Неужели? – обрадованно спросила княгиня. – Утешь меня!

– Вот что, матушка Анна Аркадьевна, скажу я вам, – произнес опять по-русски Раstopчин. – Наша Россия – тот же желудок покойного Потемкина: она в конце концов, попомните меня, переварит все, даже и Наполеона...

– Что же, граф, делать нам теперь?

– Что делать? – произнес Раstopчин. – Никому я этого, княгиня, еще не говорил и не скажу, а вам, извольте, открою: скорее и без замедления уезжайте из Москвы. Сюда французам не дойти, а все-таки...

– Куда же ехать?

– А хоть бы в вашу коломенскую или, еще лучше, подальше, в тамбовскую вотчину. Повторяю, французам не дадут, может быть, перейти и границу, но здесь, княгиня, будет неспокойно, – вполголоса заключил Раstopчин, – не в ваши лета это переносить. Начнутся вооружения, сбор войск, суета...

Княгиня молитвенно взглянула на белый, мраморный, итальянской работы, бюст спасителя, стоявший в молельне среди ее семейных, старых, потемневших образов.

– Не понимаю! – сказала она, разведя руками. – Неужели же в первопрестольной столице, среди угодников и чудотворцев божьих и под вашим начальством, граф, мы не будем в безопасности?

«Ишь, храбрая! – подумал Раstopчин. – Грозы боится, а Бонапарта не трусит, даже его шелковый портрет привесила у себя!»

– Как знаете, княгиня, – ответил граф, вставая и откланиваясь, – мое дело было вас предупредить. Я вам поведал по секрету мое личное мнение. Дождались наши вольнодумцы с величанием Бонапарта!.. Злость берет, как подумаешь. На Западе вольнодумствуют сапожники, стремясь стать богачами, а у нас баре колобродят и мутят, чтобы во что бы то ни стало стать сапожниками... И все это – их вожак Сперанский.

– Ну, вы все против Сперанского. Что он вам? – спросила княгиня.

– Что он мне? а вот что... Его хвалили, но это – чиновник огромного размера, не более, творец всемогущей кабинетной редакции. Канцелярия – его форум, тысячи бумаг – и превредных – его трубы и литавры. И хорошо, что его упрятали и что он сам теперь стал сданною в архив бумагою, за номером... Ну, да вы не согласны со мной, прощайте.

Раstopчин поцеловал руку княгини и направился к двери.

– Да, – сказал он, остановясь, – еще слово... Мое утреннее предсказание о господине Перовском, искателе руки вашей внучки, сбылось, к сожалению, ранее, чем я ожидал.

– Боже мой, что такое?

– Я застал дома указ – всем штаб- и обер-офицерам, где бы они и при чем бы ни были, без малейшего замедления отправиться к своим полкам. Вызываю его на завтра, да пораньше. Могу ему дать, если попросит, два-три дня для сборов, не более.

Княгиня протянула руку к звонку и, растерявшись, не могла его найти.

### III

Утром следующего дня Перовский узнал о вызове всех офицеров к полкам.

Не столько разнились между собой оживленная и полная, в веснушках, с золотистыми локонами и голубыми глазами Ксения и задумчивая, черноволосая и сухощавая Аврора, сколько были несхожи видом и нравом близкие друг другу с детства Илья Тропинин и Базиль Перовский.

В ранние годы Базиль был увезен из Почепа, украинского поместья своего отца, в Москву, где под надзором гувернеров и дядьки-малоросса сперва был помещен в пансион, потом в Московский университет и, кончив здесь ученье, уехал в Петербург на службу, которой ревностно и отдался. Хорошо начитанный, он знал в совершенстве французский и немецкий языки и любил музыку. Будучи смел и честолюбив и увлекаясь возвышенными военными идеалами, он питал, как и многие его сослуживцы, тайное благоговение к общему тогдашнему кумиру, укротителю террора и якобинцев, цезарю-плебею Наполеону, которого в то время многие прозорливые люди начинали уже осуждать и бранить.

В числе других истых петербургских «европейцев» Базиль мысленно, а иногда с оглядкой и вслух, искренне осуждал непринятие нашим двором сватовства Наполеона, незадолго перед тем искавшего руки великой княжны Екатерины Павловны, сестры государя Александра Павловича. Отвергнутый русскою императорскою семьей, Бонапарт, по мнению Базиля, рано или поздно должен был подумать о возмездии и так или иначе отплатить грубой, как выражались тогда в Петербурге, косневшей в предрассудках России за эту несмываемую тяжелую обиду.

Высокого роста, темноволосый, широкоплечий и с тонким, стройным военным пере хватом, Базиль был всегда заботливо выбрит, надушен и щегольски одет. С отменно вежливыми, усвоенными в столичной среде движениями и речью, он всех привлекал умным взглядом больших, карих, мечтательно-задумчивых глаз, ласковою улыбкой и веселою, своеобразною, остроумною речью. Среди товарищей Перовский слыл душой-весельчаком, среди женщин – несколько загадочным, у начальства – подающим надежды молодым офицером. Страстно любя пение и музыку, он, будучи еще студентом, самоучкою стал разбирать ноты и недурно играл на клавинофорте и пел не только в кругу товарищей, но и в обществе, на небольших вечерах. Некоторое время, состоя с другими колонновожатыми в какой-то масонской ложе, он с ними затеял было даже переселиться на дальний японский остров Соку, как тогда звали Сахалин, и основать там некую особую республику. Эта мысль вскоре, впрочем, была брошена за недостатком денег для такого дальнего вояжа.

Что же до сердечных увлечений Перовского, то никто о них в Петербурге не слышал. Он сам даже посмеивался над волокитством столичных фатов. И потому все были крайне удивлены, когда прошла неожиданная весть, что этот юный и, по-видимому, вовсе еще не думавший о прочной любви и о женитьбе красивый и всегда беспечно веселый гвардеец, так же лихо гарцевавший на петербургских маневрах и смотрах, как и ловко скользивший на столичных паркетах, влюбился и готовился посвататься. О происхождении Перовского в его служебной среде и в обществе еще мало кто знал. Его звали просто «наш красавец малоросс».

Базиль живо представлял себе последний, памятный, вторичный вечер у Нелединских-Мелецких, в их доме на Мясницкой, куда его привез университетский его товарищ, Илья Тропинин. Здесь было так весело и шумно. Старики в кабинете и в цветочной сидели за картами; молодежь в гостиной играла в фанты и в буриме, а в зале шли танцы. На этом вечере блистало столько роскошных, выписанных из Парижа нарядов и чуть охваченных краем платьев обнаженных дамских и девичьих шей и плеч. Шел бесконечный котильон, о котором тогда выражались поэты:

Cette image mobile  
De l'immobile'ternif.

(Этот подвижной образ неподвижной вечности.)

Базиль с другими танцевал до упаду. Здесь-то, среди цветущих лилий и роз, под гром оркестра Санти, он впервые увидел сухошающую и стройную, незнакомую ему брюнетку, сидевшую в стороне от танцующих. Возле нее стоял, пожирая ее глазами и тщетно стараясь ее занять, известный москвичам любитель пения и живописи, длинный и мрачный эмигрант Жерамб, всех уверявший, что он офицер тогда возникавшего таинственного легиона «hussards de la mort» («гусаров смерти»), почему он носил черный доломан с изображениями на серебряных пуговицах мертвой головы, так шедший к его исхудалому и желтому лицу. При взгляде на незнакомку в мыслях Перовского мелькнуло: «Так себе, какая-то худашка». Но когда он ближе разглядел ее черные, спокойно на всех смотревшие глаза, несколько смуглое лицо, пышную косу, небрежным жгутом положенную на голове, и ее скромное белое платье с пучком алого мака у корсажа, – он почувствовал, что эта девушка властительно войдет в его душу и останется в ней навсегда. Его поражала ее строгая, суровая и как бы скучающая красота. Она почти не улыбалась, а когда ей было весело, это показывали только ее глаза да нос, слегка морщившийся и поднимавший ее верхнюю, смеющуюся губу.

В то время за Авророй, кроме «гусара смерти» Жерамба, тщетно ухаживали еще несколько светских женихов: Митя Усов, двое Голицыных и другие. В числе последних был, между прочим, известный богатством, высокий, пожилой и умный красавец вдовец, некогда раненный турками в глаз еще при Суворове, премьер-майор Усланов. Он везде, на балах и гуляньях, подобно влюбленному Жерамбу, молча преследовал недоступную красавицу. Остряки так и звали их: «Нимфа Галатея и циклоп Полифем».

Все поклонники новой Галатеи, однако, остались за флагом. Победителя предвидели: то был Перовский. Дальнейшее знакомство, через Тропинина, сблизило его с домом княгини. Он даже чуть было не посватался. Это случилось после пасхальной обедни, которую княгиня слушала в церкви Ермолая. Аврора приняла его в пальмовой гостиной бабки, присела с ним у клавинод, и он, под вальс Ромберга, уже готовился было сделать ей предложение. Но Аврора играла с таким увлечением, а он так робел перед этою гордою, строгою красавицей, что слова не срывались с его языка, и он уехал молчаливый, растерянный.

Илья Борисович Тропинин давно угадывал настроение своего друга. Неразговорчивый, близорукий и длинный, с серыми, добрыми, постоянно восторженными глазами, Илья Тропинин был родом из старинной служилой семьи небогатых дворян-москвичей. Сирота с отроческих лет, он, как и Базиль, был рано увезен из родного дома. Помещенный опекуном в пансион, он здесь, а потом в Московском университете близко сошелся с Перовским как по сходству юношески-мечтательного нрава, так и потому, что охотнее других товарищей внимательно выслушивал пылкие грезы Базиля о их собственной военной славе, которая, почем знать, могла сравняться со славою божества тогдашней молодежи – Бонапарта. Тулон, пирамиды и Маренго не покидали мыслей и разговоров молодых друзей.

Они зачитывались любимыми современными писателями, причем, однако, Базиль отдавал предпочтение свободомыслящим французским романистам, а Илья, хотя также жадно мечтательно упивался их страстными образами, подчас по уши краснел от их смелых, грубо обольстительных подробностей и, впадая потом в раскаяние, налагал на себя даже особую епитимью. Базиль нередко после такого чтения под подушкой Тропинина находил либо тетрадь старинной печати церковных проповедей, или полупонятные отвлеченные размышления отечественных мистиков. В свободные часы Тропинин занимался рисованием. Он очень живо схватывал и набрасывал на бумагу портреты и чертил забавные карикатуры знакомых, в особенности театралов.

– Нет, боюсь женщин! – смущенно говорил в такие мгновения Илья, мучительно ероша свои русые волосы, в беспорядке падавшие на глаза. – Так, голубчик Вася, боюсь, что, по всей вероятности, никогда не решусь жениться, пойду в монастырь.

Когда друзья были еще в пансионе, Тропинина там называли «схимником», уверяя, что в его классном ящике устроено из образков подобие иконостаса, перед которым он будто бы, прикрываясь крышкой, изредка даже служил молебны.

Университет еще более сблизил Перовского и Тропинина. Они восторгались патриотическими лекциями профессоров и пользовались особым расположением ректора Антона Антоновича Прокоповича-Антонского, о котором шутники, их товарищи, сложили куплет:

Тремя помноженный Антон,  
А на придачу Прокопович...

Ректор, любивший поболтать с молодежью, расставаясь с Перовским и Тропининым, сказал первому: «Ты будешь фельдмаршалом!» – а второму: «Ты же – счастливым отцом многочисленной семьи!» Не раз впоследствии, под иными впечатлениями, приятели вспоминали эти предсказания. По выходе из университета Перовский изредка из Петербурга переписывался с Тропининым, который тем временем поступил на службу в московский сенат. Они снова увиделись зимой 1812 года, когда Базиль и также служивший в колонновожатых в Петербурге двоюродный брат Тропинина по матери, Митя Усов, получили из своего штаба командировку в Москву для снятия копий с военных планов, хранившихся в московском архиве. Базиль, чтобы не развлекаться светскими удовольствиями, получив планы, уговорил Митю уехать с ним в можайскую деревушку Усовых Новоселовку, где оба они и просидели над работой около месяца, а на масленой, окончив ее, явились ликующие в Москву и со всем увлечением молодости окунулись в ее шумные веселости.

Илья Тропинин в это время, вопреки своим юношеским уверениям, был уже не только женат и беспредельно счастлив, но и крайне расположен сосватать и женить самого Перовского. Встреча Базиля со свояченицей Тропинина Авророй Крамалиной помогла Илье ранее, чем и сам он того ожидал. Перовский на Пасху стал то и дело заговаривать об Авроре, а в мае, как замечал Илья, он был уже от нее без ума, хотя все еще не решался с нею объясниться.

## IV

Весть о призыве офицеров к армии сильно смутила Перовского. Он объяснился с главнокомандующим и для устройства своих дел выпросил у него на несколько дней отсрочку. За неделю перед тем он заехал на Никитский бульвар, к Тропинину. Приятели, посидев в комнате, вышли на бульвар. Между ними тогда произошел следующий разговор.

– Итак, Наполеон против нас? – спросил Тропинин.

– Да, друг мой; но надеюсь, войны все-таки не будет, – ответил несколько нерешительно Перовский.

– Как так?

– Очень просто. О ней болтают только наши вечные шаркуны, эти «неглиже с отвагой», как их зовет здешний главнокомандующий. Но не пройдет и месяца, все эти слухи, увидишь, замолкнут.

– Из-за чего, однако, эта тревога, сбор у границы такой массы войск?

– Меры предосторожности, вот и все.

– Нет, милый! – возразил Тропинин. – Твой кумир разгадан наконец; его, очевидно, ждут у нас... Поневолe вспомнишь о нем стих Дмитриева; «Но как ни рассуждай, а Миловзор уж там!» Сегодня в Дрездене, завтра, того и гляди, очутится на Немане или Двине, а то и ближе...

– Не верю я этому, воля твоя, – возразил Перовский, ходя с приятелем по бульвару. – Наполеон – не предатель. Не надо было его дразнить и посылать к нему в наши представители таких пошлых, а подчас и тупых людей. Ну, можно ли? Выбрали в послы подозрительного, желчного Куракина! А главное, эти мелкие уколы, постоянные вызовы, это заигрыванье с его врагом, Англией... Дошли, наконец, до того, что удалили от трона и сослали, как преступника, как изменника, единственного государственного человека, Сперанского, а за что? За его открытое предпочтение судебникам Ярослава и царя Алексея гениального кодекса того, кто разогнал кровавый Конвент и дал Европе истинную свободу и мудрый новый строй.

– Старая песня! Хорошая свобода!.. убийство без суда своего соперника Ангиенского герцога! – возразил Тропинин. – Ты дождешься с своим божеством того, что оно, побывав везде, кроме нас, и в Риме, и в Вене, и в Берлине, явится наконец и в наши столицы и отдаст на поругание своим солдатам мою жену, твою невесту – если бы такая была у тебя, – наших сестер...

– Послушай, Илья, – вспыхнув, резко перебил Перовский, – все простительно дамской болтовне и трусости; но ты, извини меня, – умный, образованный и следящий за жизнью человек. Как не стыдно тебе? Ну зачем Наполеону нужны мы, мы – дикая и, увы, полускифская орда?

– Однако же, дружище, в этой орде твое мировое светило усиленно искало чести быть родичем царей.

– Да послушай наконец, обсуди! – спокойнее, точно прощая другу и как бы у него же прося помощи в сомнениях, продолжал Базиль. – Дело ясное как день. Великий человек ходил к пирамидам и иероглифам Египта, к мраморам и рафаэлям Италии, это совершенно понятно... А у нас? чего ему нужно?.. Вяземских пряников, что ли, смоленской морошки да ярославских лык? или наших балетчиц? Нет, Илья, можешь быть вполне спокоен за твоих танцовщиц. Не нам жалкою рогатиной грозить архистратигу королей и вождю народов половины Европы. Недаром он предлагал Александру разделить с ним мир пополам! И он, гений-творец, скажу открыто, имел на это право...

– О да! И не одного Александра он этим манил, – возразил Тропинин, – он тоже великодушно уступал и богу в надписи на предположенной медали: «Le ciel' toi, la terre' moi». («Небо для тебя, земля – моя.») Стыдись, стыдись!..

Перовский колебался, нить возражений ускользала от него.

– Ты повторяешь о нем басни наемных немецких памфлетистов, – сказал он, замедляясь на бульварной дорожке, залитой полным месяцем. – Наполеон... да ты знаешь ли?.. пройдут века, тысячелетия – его слава не умрет. Это олицетворение чести, правды и добра. Его сердце – сердце ребенка. Виноват ли он, что его толкают на битвы, в ад сражений? Он поклонник тишины, сумерек, таких же лунных ночей, как вот эта; любит поэмы Оссиана, меланхолическую музыку Паэзиелло с ее медлительными, сладкими, таинственными звуками. Знаешь ли – и я не раз тебе это говорил, – он в школе еще забивался в углы, читал тайком рыцарские романы, плакал над «Матильдой» крестовых походов и мечтал о даровании миру вечного покоя и тишины.

– Так что же твой кумир мечется с тех пор, как он у власти? – спросил Тропинин. – Обещал французам счастье за Альпами, новую какую-то веру и чуть не земной рай на пути к пирамидам, потом в Вене и в Берлине – и всего ему мало; он, как жадный слепой безумец, все стремится вперед и вперед... Нет, я с тобой не согласен.

– Ты хочешь знать, почему Наполеон не успокоился и все еще полон такой лихорадочной деятельности? – спросил, опять останавливаясь, Перовский. – Неужели не понимаешь?

– Объясни.

– Потому, что это – избранник провидения, а не простой смертный.

Тропинин пожал плечами.

– Пустая отговорка, – сказал он, – громкая газетная фраза, не более! Этим можно объяснить и извинить всякое насилие и неправду.

– Нет, ты послушай, – вскрикнул, опять напирая на друга, Базиль, – надо быть на его месте, чтобы все это понять. Дав постоянный покой и порядок такому подвижному и пылкому народу, как французы, он отнял бы у страны всякую энергию, огонь предприятий, великих замыслов. У царей и королей – тысячелетнее прошлое, блеск родовых воспоминаний и заслуг; его же начало, его династия – он сам.

– Спасибо за такое оправдание зверских насилий новейшего Атиллы, – возразил Тропинин, – я же тебе вот что скажу: восхваляй его как хочешь, а если он дерзнет явиться в Россию, тут, братец, твою философию оставят, а вздуют его, как всякого простого разбойника и грабителя, вроде хоть бы Тушинского вора и других самозванцев.

– Полно так выражаться... Воевал он с нами и прежде, и воров его не звали... В Россию он к нам не явится, повторяю тебе, – незачем! – ответил, тише и тише идя по бульвару, Перовский. – Он воевать с нами не будет.

– Ну, твоими бы устами мед пить! Посмотрим, – заключил Тропинин. – А если явится, я первый, предупреждаю тебя, возьму жалкую рогатину и, вслед за другими, пойду на этого архистратига вождей и королей. И мы его поколотим, предсказываю тебе, потому что в конце концов, Наполеон все-таки – один человек, одно лицо, а Россия – целый народ...

Вспоминая теперь этот разговор, Перовский краснел за свои заблуждения.

## V

Новые настойчивые слухи окончательно поколебали Перовского относительно его кумира. Он за достоверное узнал, что Наполеон предательски захватил владения великого герцога Ольденбургского, родственника русского императора, и собирался выгнать остальных государевых родных из других немецких владений. Вероломное скопление французов у Немана тоже стало всем известно. Смущенный Перовский стал непохож на себя.

Вечером следующего дня устроилась прогулка верхами за город. В кавалькаде участвовали Ксения с мужем и Аврора с Перовским и Митей Усовым. Лошади для мужчин были взяты из мамоновского манежа. Выехали через Поклонную гору в поле. За несколько часов перед этой поездкой прошел сильный с грозой дождь.

Вечер красиво рдел над Москвой и окрестными пологими холмами. Душистые зеленые перелески оглашались соловьями, долины – звонкими песнями жаворонков. Аврора ездилась лихо. Ее собственный, красивый караковый в «масле» мерин Барс, пеня удила, натянутые ее твердою рукой, забирал более и более хода, мчась по мягкой, росистой дороге проселка. Серый жеребец Перовского, не отставая, точно плыл и стлался возле Барса. Ускакав с Перовским вперед от прочих всадников, Аврора задержала коня.

– Вы скоро едете? – спросила она.

– На несколько дней получил отсрочку.

– Что же, полагаю, вам тяжело идти на прославленного всеми гения? – спросила Аврора, перелетая в брызгах и всплесках через встречные дождевые озера. – Оставляете столько близких...

Проскакав несколько шагов, она поехала медленнее.

– Близкие будут утешены, – ответил Базиль, – добрые из них станут молиться.

– О чем?

– Об отсутствующих, путешествующих, – ответил Перовский, – так сказано в Писании.

– А о болящих, дома страждущих, помолятся ли о них? – спросила Аврора, опять уносясь в сумрак дороги, чуть видная в волнистой черной амазонке и в шляпке Сандрильоны с красным пером.

– Будут ли страдать дома, не знаю, – ответил, догнав ее Базиль, – говорят же: горе отсутствующим.

– Горе, полагаю, тем и другим! – сказала, сдерживая коня, Аврора. – Война – великая тайна.

Сзади по дороге послышался топот. Аврору и Перовского настигли и бешено обогнали два других всадника. То были Ксения и Митя Усов.

– А каковы, Аврора Валерьяновна, аргамачки? – весело крикнул Митя, задыхаясь от скачки и обдав Перовского комками земли. – Мне это, Базиль, по знакомству дал главный мамоновский жокей Ракитка...

Ксения, в красной амазонке и вьющейся за плечами вуали, мелькнула так быстро, что сестра не успела ее окликнуть. Тропинин мерным галопом ехал сзади всех на грузном и длинном английском скакуне с коротким хвостом.

– Что за милый этот Митя, – сказала Аврора, когда Перовский опять поравнялся с нею, – ждет не дождется войны, сражений...

– И золотое сердце, – прибавил Перовский. – Сегодня он писал такое теплое письмо к своему главному командиру, моля иметь его в виду для первого опасного поручения в бою. И что забавно – убежден, что в походе непременно влюбится и осенью обвенчается.

Всадники еще проскакали с версту между кудрявыми кустарниками и пригорками и поехали шагом.

– Как красив закат! – сказал, оглядываясь, Перовский. – Москва как в пожаре... кресты и колокольни над нею – точно мачты пылающих кораблей...

Аврора долго смотрела в ту сторону, где была Москва.

– Вы исполните мою просьбу? – спросила она.

– Даю слово, – ответил Перовский.

– Скажите прямо и откровенно, как вы смотрите теперь на Наполеона?

– Я... заблуждался и никогда себе это не прощу.

Глаза Авроры сверкнули удивлением и радостью.

– Да, – сказала она, помолчав, – надвигаются такие ужасы... этот неразгаданный сфинкс, Наполеон...

– Предатель и наш враг; жизнь и все, что дороже мне жизни, я брошу и пойду, куда прикажут, на этого врага.

Аврора восторженно взглянула на Перовского. «Я не ошиблась, – подумала она, – у нас одни идеалы, одна мысль!»

– Вы правы, правы... и вот что...

Аврора вспыхнула, хотела еще что-то сказать и замолчала. Хлестнув лошадь, она быстро перескочила через дорожную канаву и понеслась полем, вперерез обогнавшим ее всадникам. Все съехались у стемневшей рощи. Возвращались в Москву общей группой, при месяце. Под Новинским Базиль увидел, в глубине знакомого двора, окна своей квартиры, где он в последнее время пережил столько сомнений и страданий, и, указав Авроре этот дом, стал было у ворот прощаться с нею и с остальными, но его упростили, и он поехал далее. Княгиня ждала возвращения катающихся и, под их оживленный говор, просидела с ними до ужина.

– Вы не договорили, хотели еще что-то мне сказать? – спросил после ужина Перовский Аврору.

Она молча присела к клавибордам. В полуосвещенной зале раздались пленительные звуки ее сильного, грудного, бархатного контральто. Аврора пела любимый сердечный романс старого приятеля бабки, Нелединского-Мелецкого:

Свидетели тоски моей,  
Леса, безмолвью посвященны...

– Дорогой Василий Алексеевич, – обратилась Ксения к Перовскому, – спойте тот... ну, мой любимый.

Перовский расстегнул воротник мундира, подошел к клавибордам, оперся руками о спинку стула Авроры и под ее игру запел романс того же автора:

Прости мне дерзкое роптанье,  
Владычица души моей.

Все были растроганы. Базиль от сердечного волнения, глядя на склонившиеся к нотам шею и плечи Авроры, блаженствуя, смолк. Тропинин отирал слезы.

– Ах, как ты, Вася, поешь, – проговорил он, – как поешь! Ну можно ли с такую душою защищать Наполеона?..

Аврора глазами делала знаки Илье Борисовичу. Ее носик весело сморщился, подняв над губами смеющуюся губу. Илья этих знаков не видел.

Перовский и Тропинин уехали. Ксения осталась ночевать с сестрой. Проводив мужчин и простясь с бабкой, сестры ушли из залы в темную угловую молельню и молча сели там. Вдруг Аврора встала, возвратилась в залу и со словами: «Нет, не могу!» – опять села за клавиборды.

Плавные звуки ее любимой шестнадцатой сонаты Бетховена огласили стихшие комнаты. Сыграв сонату, она задумалась.

– О чем ты думаешь? – спросила, обнимая сестру, Ксения.

Аврора, не отвечая, стала опять играть.

– Ты о нем? – спросила Ксения.

– Да, он уедет, и я предчувствую... более мы не увидимся.

– Но почему же, почему? – спросила Ксения, осыпая поцелуями плакавшую сестру. – Он вернется; от тебя зависит подать ему надежду.

Аврора не отвечала.

«И зачем я узнала его, зачем полюбила? – мыслила она, склоняясь к клавишам и, в слезах, продолжая играть. – Лучше бы не родиться, не жить!»

## VI

Уйдя к себе наверх, Аврора отпустила горничную и стала раздеваться. Не зажигая свечи, она сняла с себя платье и шнуровку, накинула на плечи ночную кофту и присела на первый попавшийся стул. Месяц светил в окна бельведера. Аврора, распустив косу, то заплетала ее, то опять расплетала, глядя в пустое пространство, из которого точно смотрели на нее задумчиво-ласковые глаза Перовского.

– Ах, эти глаза, глаза! – прошептала Аврора.

Красного дерева, с бронзой, мебель этой комнаты напомнила ей нечто далекое, дорогое. Эта мебель ее покойной матери напомнила ей улицу глухого городишки, дом ее отца и ее первые детские годы при жизни матери.

Мать Авроры, дочь Анны Аркадьевны, когда-то страстно влюбилась в красивого и доброго, небогатого пехотного офицера и, получив отказ княгини, бежала из ее дома и без ее согласия обвенчалась с любимым человеком. Это был Валерьян Андреевич Крамалин. Чувствительная и нежная сердцем беглянка дала своим дочерям романтические имена Авроры и Ксении. Аврора не помнила военной, скитальческой и полной всяких лишений жизни своих родителей. Зато она помнила, как ее и ее сестру любила мать, и живо представляла себе то время, когда ее отец, выйдя в отставку, служил по дворянским выборам. У него в уездном городе был над обрывом реки собственный небольшой деревянный домик с мезонином, огородом и чистеньким, уютным садиком, где Крамалины, по переезде в город, развели такие цветники, что ими любовались все соседи.

Авроре были памятны все уголки этого тенистого сада: полянка, где сестры играли в куклы; клумба цветущих сиреней и жимолости, где она впервые увидела и поймала необычайной красоты золотистую, с голубым отливом, бабочку; горка, с которой был вид на город и обширные окрестные поля, и старая береза, под которой Аврора с сестрой, уезжая впоследствии из этого дома, со слезами зарыли в ящичке лучших своих кукол. Девочки знали, что у них есть богатая и знатная бабка-княгиня, что эта бабка безвыездно живет где-то далеко, в чужих краях, и что она почему-то ими недовольна, так как редко пишет к их маме. Памятна была Авроре одна бесснежная, гнилая зима. В городке открылись повальные болезни. Авроре был десятый год.

Однажды девочки пошли пожелать доброго утра матери. Их не пустили к ней, сказав, что у их мамы опасная болезнь. Аврора помнила наставшую в доме мрачную тишину, опечаленные, красные от слез лица отца и прислуги, торопливый приезд и отъезд городских врачей и то полное ужаса утро, когда дети, выйдя в залу, увидели на столе что-то страшно-неподвижное, в белом платье и с белой кисеей на лице. Им кто-то шепотом сказал, что это белое и неподвижное была их умершая мать. Девочки вскрикнули: «Мама, мама! проснись!» – и не верили, что их матери уже более нет на свете. Вспомнились Авроре вопли отца на городском кладбище, где он бил себя в грудь и рвал на себе волосы. Живо представился ее мыслям его отъезд с ними, в метель, в недалёкую деревушку Дединово, к его двоюродному брату, Петру Андреевичу Крамалину, у которого доктора советовали ему на время оставить детей. Вспомнилась ей и новая весна в этой деревушке, с новыми цветущими сиренями и бабочками, которые ее тогда уже не восхищали. Дети пробыли у дяди целое лето; отец их часто навещал.

Вдовый старик дядя был страстный охотник. Несмотря на свои годы, он постоянно охотился то с борзыми и гончими, то с ружьем. За детьми присматривала его пожилая экономка Ильинишна. Он брал с собою на охоту и племянниц и однажды, собираясь в поле, не утерпев, дал им поездить по двору верхом. Ксения струсила; Аврора же, усевшись на дамском седле покойной дочери дяди, смело прокатилась и с той поры только и думала о верховой езде. Белый,

как сметана, верховой конь дяди Петра Коко был чуть не ровесник своего владельца, но ходил плавно, не спотыкался, слушался повода и еще лихо скакал.

– Дядечка Петя, – просила иногда Аврора, – позвольте мне покататься с кучером.

Коко торжественно седлала и подводила к крыльцу. Черноглазая, худенькая девочка подносила к его теплым губам кусок черного хлеба с солью и, покормив его, проворно взбиралась со ступеней на седло.

– Ты не девочка – мальчик-постреленок! – твердила Ильинишна, глядя на нее и качая головой.

– Барышня, барышня! – кричал нередко кучер, не поспевая за Авророй, носившейся по полям и кустам.

– Ах, дядечка, – сказала раз Аврора дяде, – исполните мою просьбу?

– Ну, говори!

– Дайте мне выстрелить из ружья.

Дядя Петя подумал, походил по комнате и взял со стены ружье. Он сам зарядил ей свой «ланкастер», научил, как держать его и целиться, и дал ей выстрелить в саду в цель. Стрельба повторялась при нем и впоследствии. А раз вечером, осенью, когда дядя был в лесу, на охоте на вальдшнепов, вдруг в доме, как бы сам собой, раздался оглушительный выстрел. Ильинишна и прочая прислуга в ужасе бросились и нашли Аврору в барском кабинете, в дыму. Оказалось, что она увидела в окно псарей, гнавшихся за чужою собакой и кричавших: «Бешеная, бешеная!» Аврора, игравшая здесь с Ксенией, недолго думая, схватила со стены заряженное ружье и, как ни останавливала ее сестра, прицелилась и спустила курок. Раненая собака упала и была добита гонцами. Девочку застали бледною, дрожащею и в слезах. Она от перепуга долго не могла понять, где она и что с нею случилось.

– Да как же ты, бедовая, решилась? – спрашивал ее потом дядя.

– Вижу, бегут, кричат: «Бешеная!» – я и схватила...

– А как попала бы не в собаку, а в людей?

Аврора горько плакала и не отвечала. Это событие стало предметом общих толков. Приехавший отец горячо было поспорил с Петром Андреевичем, но потом успокоился и отпустил к нему дочерей и на другое лето. Тогда уже дядя Петя стал брать Аврору на охоту с собой в качестве подручного стрелка. Ее восторгу не было границ. Коко и ружье виделись ей даже во сне. Но наступила нежданная разлука.

## VII

Однажды Валерьян Андреевич Крамалин приехал в Дединово к брату и радостно прочел ему при детях письмо, полученное им от княгини Шелешпанской из Парижа. Год назад Анна Аркадьевна, извещенная о кончине своей дочери, искренне оплакав ее, писала, что сама сильно недомогает и, вероятно, недолго проживет. Теперь же извещала, что ее здоровье поправилось, что она готова заменить сиротам мать, и предлагала их отцу располагать для того ею самую и всеми ее средствами. К письму был приложен приказ в одну из ее вотчинных контор – выдать ее зятю значительную сумму денег. Начались совещания и даже споры между отцом и дядей девочек, что с ними предпринять. В конце новой осени Валерьян Андреевич взял Аврору и Ксению от дяди Пети и отвез их в московский Екатерининский институт.

Началась непосредственная переписка девочек с бабкой. В конце следующего года они уведомили княгиню, что их отец простудился в какой-то поездке и, как пишет дядя, опасно занемог. Прошла зима, наступило лето. Крамалины написали бабке отчаянное письмо, что их дорогой папа также умер, что они в трауре и что все институтки разъезжаются на каникулы, а их, круглых сирот, некому взять, так как и дядя Петя, по слухам, оставил Дединово и уехал куда-то на воды. Бабушка ответила, что надо молиться о родителях и терпеть, и прислала им какое-то назидательное французское сочинение о нравственном долге. Прошло несколько лет горького сиротства девочек. Незадолго до их выпуска из института их вызвали в неурочный час к директрисе. Войдя в высокие парадные комнаты суровой начальницы, они сделали формальный книксен и рядом с нею увидели высокую, в напудренных локонах и в черной шали, красиво закинутой через плечо, представительную и чопорную старуху, которая внимательно и молча оглядела их в золотой лорнет, хотела, обернувшись к директрисе, сказать что-то важное, но тут же залилась слезами и, без всякой чопорности и важности, бросилась их целовать. То была княгиня Анна Аркадьевна Шелешпанская, решившая, из сочувствия к внукам, покинуть Париж и переехать на постоянное жительство в Москву.

Старуха, узнав лично сирот, искренне и горячо полюбила их, ласкала, баловала и чуть не каждый день ездила к ним. У Авроры были способности к музыке, Ксения предпочитала танцы. Для них были наняты лучшие по этой части особые учителя. По выходе внушек из института княгиня открыла свой давно пустевший дом у Патриарших прудов, отделала его заново и сама стала вывозить внушек в свет. Куда на это время делись слабость ее здоровья и жалобы на преклонные лета! Все заговорили о ее гостиной, где пальмовая мебель была обита черною тисненою кожей с золочеными гвоздиками, о двух пугах ее лошадей, шестерне вороных и четверке чалых, о ее балах и вечерах. После свадьбы Ксении она формальным духовным завещанием отказала свое Можайское поместье Любаново Авроре, а коломенскую деревню Ярцево – Ксении. Выдав год назад замуж веселую и добродушную Ксению, княгиня с тревогой стала поглядывать на свою вторую внучку, которая, казалось, вовсе не думала о замужестве и несколькими выгодным искателям ее руки, под разными предлогами, отказала.

– Не расстанусь я, дорогая, с вами! – говорила задумчивая и сосредоточенная Аврора, ухаживая за бабкой. – Что мне? Я довольна, счастлива; право, счастлива! Изредка выезжаю к знакомым... катаюсь верхом... у меня чудный Барс... беру уроки пения и на клавикордах у первых знаменитостей; читаю... у вас же такая чудная библиотека! Ах, не говорите мне, бабушка, о браке... дайте подолее пожить с вами, возле вас.

Старуха, отирая слезы и радостно любясь строгою красотой Авроры, думала: «А в самом деле! Пусть поживет у меня... Господь в ней неисповедимыми путями, очевидно, искупает увлечение, ошибку их бедной матери, когда-то так легкомысленно бросившей меня».

Княгиня, в старческом себялюбии, продолжала считать ошибкою брак покойной дочери, забывая, что эта дочь, когда между ними произошло охлаждение, относилась к ней, как и

прежде, почтительно-нежно и, горячо любя мужа и будучи взаимно им любима, жила с ним до кончины вполне счастливо.

Катанья на Барсе Аврора забывала только ради музыки и книг.

Библиотека, о которой она говорила бабке, состояла из полки русских и нескольких шкафов иностранных изданий. Русские книги были собраны покойным мужем княгини, ведущим дружбу с Новиковым и другими московскими мартенистами, иностранные же – в большинстве вывезла сама Анна Аркадьевна из Парижа, где в ее салоне собирались некоторые из светил современной французской литературы. Выйдя из института, Аврора, между изучением сольфеджий, каденц и рулад Фелис-Андре и выездами на концерты и балы, по совету институтского учителя русской словесности, прочла и некоторые из тогдашних немногих русских книг. Княжнина, Державина и Дмитриева она едва одолевала. Зато с жадностью прочла повести и письма из чужих краев Карамзина, уже входившие в моду басни Крылова и стихотворения Жуковского и всецело обратилась к корифеям иностранных литератур. Между последними она обратила особое внимание на прежних и новых французских моралистов и с жадностью набросилась на них. Жан-Жак Руссо, д'Аламбер, де Местр и Бернарден де Сен-Пьер надолго стали любимцами Авроры. Она с ними мечтала о возможности пересоздания обществ на новых, мирно-идеальных началах. Но все заговорили о Бонапарте, о войне.

Наполеон сильно занял Аврору и стал ее мыслям представляться сказочным исполином, неземным героем. Сперва она с наслаждением воображала его себе в виде гения-благодетеля, нежданно и таинственно сошедшего в мир и проливающего на человечество, вместе со своею ослепительною славой, потоки мирного, неведомого дотоле блаженства. Но когда однажды бабке принесли с почты пачку новых, французских, изданных в Бельгии и в Англии, памфлетов о Наполеоне и она один из них, написанный мадам де Сталь, по желанию княгини, прочла ей вслух, ее взгляд на Наполеона начал быстро изменяться. Вероломная же казнь герцога Ангиенского повергла ее просто в отчаяние. Узнав, как не повинный ни в чем герцог был схвачен, поставлен во рву Венсенской крепости и, без сожаления, расстрелян Наполеоном, Аврора разрыдалась, повторяя: «Бедный, бедный! и за что? где наказание его убийцам?» Несколько успокоясь, она заперлась у себя в комнате, наверху, прочла все вновь полученные и вывезенные бабкой брошюры о Бонапарте, на которые она прежде не обращала особого внимания, и Наполеон, с его блеском, громкими войнами и разрушением старых городов и царств Европы, вместо идеального героя начал ей представляться ненавистным, эгоистическим и звероподобным чудовищем. Она даже сетовала в мечтах, почему не родилась мужчиной, иначе она была бы в рядах смелых бойцов, сражающихся с этим новым Чингисханом.

Познакомясь с Перовским, Аврора вначале с пренебрежением и насмешкой, потом внимательнее вслушивалась в его дифирамбы Наполеону и, под его влиянием, на некоторое время не то чтобы смягчила свой взгляд на загадочного героя, а этот герой перестал ее волновать и раздражать. Но когда разнеслась и стала подтверждаться молва о близости войны и когда благодаря этому Бонапарту, которого отчасти еще защищали Перовский и княгиня и открыто бранили Растопчин и Тропинин, Аврора должна была проститься с человеком, которого в душе предпочитала другим, – в ней снова поднялась вражда к «корсиканскому чудовищу», грозившему России бедствиями войны. Аврора старалась в душе примириться с отъездом искателя ее руки.

«Недалеко, – думала она, – два-три месяца пролетят незаметно!.. Он возвратится и несомненно выскажется...» Когда же Перовский, с прочими отпускными офицерами, был нежданно потребован к Растопчину и ему объявили приказ о немедленном выезде в армию, Аврора не помнила себя от горя.

«Вернется ли он и действительно ли можно еще избежать войны? – мыслила она. – И зачем эта война, эти ужасы? И для чего, наконец, идет олицетворение всех ужасов, насилий и потоков крови – этот Наполеон? Его предшественник, Марат, вызвал некогда месть сме-

лой патриотки, – думала, содрогаясь, Аврора. – Господи, отомсти, порази своим гневом этого насильника!»

## VIII

Накануне своего отъезда из Москвы Перовский обедал в доме Анны Аркадьевны и заехал к ней опять вечером. В это время у нее собрались некоторые из близких знакомых, в том числе две-три институтские подруги Авроры и Ксении с братьями. Молодые люди были веселы, играли в шарады, буриме и *secrtaire*<sup>8</sup>, оживленно рассказывали о балах последних дней, о сватовстве и близких свадьбах в семьях некоторых москвичей. Кто-то передал, что свадьба одной из их знакомых, пожалуй, расстроится, так как ее жениха прежний ее обожатель вызвал на дуэль. Аврора взглянула на Перовского. Тому этот взгляд показался упреком. Он терялся в его значении. Княгиня в скромном, фиолетово-дофиновом платье и в темной шали, с грустью поглядывая на Перовского и Аврору, молча раскладывала в гостиной пасьянс. Перед чаем Ксения открыла клавикуры и пригласила одну из подруг спеть. Некоторые в это время гуляли в саду; между ними была и Аврора. Заслушавшись издали пения, она заметила, что сад опустел. Она направилась к дому. Вдруг она вздрогнула. Навстречу к ней из-за деревьев шел Перовский.

Ярко светил месяц. Влажный воздух сада был напоен запахом листвы и цветов. Прямая, широкая липовая аллея вела от ограды двора к пруду, окаймленному зеленою поляною, с сюрпризами, гротами, фонтанами и грядками высаженных из теплиц цветущих нарциссов, жонкилей и барской сниси. Сквозь ограду виднелись освещенные и открытые окна дома, откуда доносились звуки пения. В саду было тихо. Каждая дорожка, каждое дерево и куст веяли таинственным сумраком и благоуханием.

Увидя Перовского, Аврора хотела было идти к воротам. Он ее остановил.

– Вы здесь? – сказал Базиль, восторженно глядя на нее.

Аврора, казалось, подбирала слова.

– Вот что, – проговорила она, – о войне и ее виновнике... они у всех теперь в мыслях... давно я собиралась вам это передать... Прошлым летом с Архаровыми я ездила в их подмосковную. Там собрание картин, и я, помню, в особенности засмотрелась на одну. На ней изображена охота в окрестностях Парижа, в парке, на оленей. Превосходная копия с работы какого-то знаменитого французского живописца. Ах, что за картина! ну, живые люди; а скалы, ручей, деревья...

– У Архаровых действительно отличная картинная галерея.

– Нет, послушайте: справа, на поляне, за оленем, стая озлобленных гончих. Он изнемогает, напряг последние силы и спасся бы... но – наперерез ему... беда слева: в ожидании оленя стоит спрятанный за деревьями стрелок. Его окружают верха пышные, в золоте, придворные и, в открытых колясках, под зонтиками, красивые, нарядные дамы. Стрелок – Наполеон... Он в синем мундире, белом камзоле и в треуголке; как теперь его вижу: толстый, круглый, счастливый и крепкий, точно каменный.

– Именно каменный, – сказал, вздохнув, Перовский.

– Его полное, смуглое лицо самодовольно, – продолжала Аврора. – Он спокойно прицелился и чуть не в упор стреляет в бедное, с высунутым языком и блуждающими глазами животное... Фу! Я видела не раз, бывала на охоте, но тогда же я сказала Элиз Архаровой: «Какой дурной и жестокий этот всеми прославленный человек!» Ну можно ли так равнодушно-спокойно и так безжалостно убивать слабое, изнемогающее в побеге, живое существо?! Он так же расстрелял и герцога Ангиенского...

Аврора в волнении смолкла.

– Вы правы... клянусь, это жестокий человек! – сказал Перовский. – Мы ему отплатим за все его вероломства. Ему вспомнятся лживые заверения Тильзита и Эрфурта. Я заблуждался,

<sup>8</sup> Игра в почту (*франц.*).

был слеп... говорю это теперь не с чужого голоса и не стыжусь за то, что говорю; я еду с твердым убеждением, что наши жертвы, наши усилия сломят врага... Одно горе...

Перовский смешался и замолчал. Аврора с трепетом ожидала чего-то необычайного, страшного.

– Вы меня простите, – проговорил вдруг упавшим голосом Перовский, – я еду и, может быть, навсегда... но это выше моих сил...

Аврора с замиранием вслушивалась в его слова. Ее сердце билось шибко.

– Я не могу, я должен сказать, – продолжал Базиль. – Я вас люблю, и потому...

Аврора молчала. Свет померк в ее глазах. После минутной борьбы она робко протянула руку Перовскому. Тот в безумном восторге осыпал эту руку поцелуями.

– Как? вы согласны? вы...

– Да, я ваша... твоя, – прошептала, склоняясь, Аврора.

Они снова углубились в сад. Перовский говорил Авроре о своих чувствах, о том, как он с первого знакомства горячо ее полюбил и не решался объясниться.

– Все ли ты обо мне знаешь? – спросил Базиль. – Я – Перовский, но мой отец носит другое имя.

Он передал Авроре о своем прошлом. Она, идя рядом с ним, молча слушала его признания.

– Зачем ты мне это сказал? – спросила она, когда он кончил исповедь.

– Чтобы ты знала все, что касается меня. Это тайна не моя, моего отца, и я должен был ее хранить от всех, но не от тебя...

Аврора с чувством пожала руку Перовского.

– Так ты – сын министра? – сказала она, подумав. – Что же? Я рада за твоего отца, но, прости, не за тебя... Почему твой отец из этого делает тайну?

Перовский сослался на обычаи света, на положение отца.

– Ты любишь свою мать? – спросила Аврора.

– Еще бы!.. всем сердцем, горячо.

– И она хорошая мать, добра, заботилась о тебе?

Базиль рассказал о своих детских годах в Малороссии, о свидании в деревне с отцом, пред отъездом в ученье, о пребывании в университете и о поступлении на службу в Петербург.

– И ты, с отъезда из деревни, не видел отца?

– Видел в Петербурге.

– И он не оставил тебя при себе?

Базиль молчал.

– Я так же горячо, как и ты, полюблю твою матушку! – сказала Аврора. – Но тебя узнает и, нет сомнения, ближе оценит и твой отец; не может быть, чтобы он тобою не гордился, тобою не жил.

Из-за ограды раздался голос слуги княгини, Власа:

– Барышня, бабушка вас зовут... Мелецкие уезжают...

– Постой, еще слово, – проговорил Перовский, не выпуская руки Авроры. – Подари мне на память какую-нибудь безделицу... ну, хоть этот цветок.

Аврора вырвала из пучка сирени, приколотого к ее груди, цветущую ветку и подала ее Перовскому.

– Есть у тебя твой портрет? – спросила она.

– Есть миниатюрный, работа Ильи... я хотел завтра его послать матери в Почеп, но для тебя...

– Отлично, Илья Борисович снимет мне копию.

– Нет, нет! – вскрикнул Перовский. – Возьми этот! Он готов... со мной! Вот он... я сегодня утром получил его из отделки.

Он подал Авроре медальон с крошечным своим акварельным портретом. Она взглянула на портрет и прижала его к груди.

– Барышня, да где же вы? – раздался от ворот голос экономки Маремьяши.

Аврора спрятала медальон под корсаж платья и, отирая слезы, направилась из сада. Она, об руку с Перовским, возвратилась в дом, откуда уже начали разъезжаться.

– Ну, теперь иди к бабушке, – сказала она, сморщив носик, – и делай формальное предложение: иначе нельзя... как можно, обидится, еще откажет.

Базиль было направился в гостиную. Аврора остановила его.

– Нет, – объявила она, выпрямляясь, – пойдем вместе.

Сильно побледнев и ни на кого не глядя, она твердо прошла через ряд комнат, подвела Перовского к бабке, окруженной у двери в молельню прощавшимися гостями, и, держа его за руку, тихо проговорила:

– Дорогая бабушка, вот мой жених.

Княгиня обомлела.

– Да как же это, не спросясь? Да что же и ты, как смел? – обратилась было княгиня к Перовскому, но тут же, едва сдерживая слезы, она обняла его, обняла и упавшую перед ней на колени Аврору, крестила их и целовала. – В мать! в мать! смела и мила! – твердила она, смеясь и плача. – Ох, родные мои, любите друг друга и будьте счастливы!

Разъезд гостей приостановился. Все радовались счастливой развязке романа Авроры. Потребовали шампанского, и помолвка стоворенных была полита обильными тостами.

– Но неужели это – последнее прости и мы более уже не увидимся? – спросил Перовский Аврору, когда пришел черед их прощанью. – Ведь я завтра, что ни делай, утром уеду.

В голосе Базиля дрожали слезы. Глаза всех были обращены на него.

– До свидания... осенью, – ответила, стараясь улыбнуться и крепко пожав ему руку, Аврора.

– До свидания, до свидания! – твердили прочие. Перовский простился со всеми и уехал. Аврора бросилась к себе на антресоли и разрыдалась. Она ходила по комнате, ломала свои руки и повторяла: «Нет, нет! так невозможно... но неужели? О господи! вразуми, подкрепи, охраняй меня...»

На квартире Базиль разбудил хозяйского слугу, зажег свечу и, вздыхая, написал и послал записку к Мите Усову, жившему неподалеку, в гостинице «Лондон». В записке он извещал, чтобы Митя завтра явился пораньше, так как почтовые лошади будут готовы к семи часам утра. Перовскому приходилось ехать до Можайска с Митей, и он с ним условился завернуть там, поблизости, в усовскую деревушку Новоселовку, где у Мити, по желанию отца, шли поправки в доме и где он надеялся получить с крестьян оброк, чтобы возвратить Перовскому деньги, занятые у последнего в Москве. Послав записку, Базиль уложил в чемодан последние вещи и взглянул на часы. Был второй час ночи.

«Недалеко до утра, – подумал он, – где тут спать? Ночь чудная, лунная... скоро рассвет... пойду прогуляюсь... а утром, по пути, еще раз заеду проститься с Авророй».

Базиль раскрыл окно, выходящее в соседний сад, и задумался.

«Нет, – сказал он себе, – вряд ли удастся так рано увидеть Аврору... Напишу ей лучше теперь и сам завезу к ней записку; вызову ее как-нибудь, хоть на мгновение, на Патриаршие пруды... Она могла бы выйти с Маремьяшей или с Власом... Не удалось нам и наговориться... а столько хотелось бы высказать, передать...»

Базиль сел к столу и начал писать. Прошло несколько минут. За дверью послышался шорох.

«Это слуга возвратился от Мити, – подумал Базиль, – ищет впотьмах дверного замка».

Он продолжал писать. Дверь скрипнула. Перовский обернулся. У порога стояла женская фигура, в черном, под густою, темною вуалью.

– Кто это? – спросил Базиль, вскакивая.

Фигура неподвижно и молча стояла у порога. Перовский шагнул к ней ближе. Он узнал Аврору.

– Ты? ты здесь? – вскрикнул он, притягивая ее к себе и осыпая безумными, страстными поцелуями ее похолодевшие руки, лицо, волосы. – Как ты решилась, дорогая, как нашла?

– Я хотела еще раз видеть тебя, поговорить.

Базиль не помнил себя от счастья.

– Ведь и я, вообрази, думал к тебе сейчас, – произнес он, усаживая Аврору и садясь против нее, – вот, смотри, даже писал к тебе, хотел вызвать.

Аврора откинула за плечи вуаль, пристально взглянула на него и с мыслью: «Что будет далее – не знаю, теперь же ты со мной!» – страстно обхватила его голову.

– Какая пытка! – шептала она в слезах. – И зачем мы встретились, сошлись? Я боялась, боролась: что, если кто встретит? Но видишь, я здесь. Неужели разлука навек?

– О, я верю в нашу звезду; мы, даст бог, снова увидимся, – сказал Базиль.

– Да, разумеется! Что же это я, безумная?.. Увидимся непременно.

Аврора отерла слезы, помахала себе в лицо платком.

– Ты на прогулке тогда, – сказала она, – упомянул, но как-то легко, как бы в шутку, о молитве... Вы, мужчины, прости, малoverы... а тебе предстоит такое важное, тяжелое дело... Ты не рассердишься?

– Говори, говори.

– Покойница мать учила меня и сестру прибегать, в дни горя и скорби, к покрову божией матери. Дай слово, что ты искренне будешь молиться этому образу.

– Клянусь, исполню твой завет.

Аврора вынула из кармана иконку и надела ее на шею Базиля. Слезы стояли в ее глазах.

– Ну, теперь я все сказала, прощай, – произнесла она, отирая лицо.

– Как? расставанье? – вскрикнул Перовский. – Но где же божья правда? Миг встречи – и месяцы разлуки! Я все брошу, все... останусь с тобой, не уходи... Слушай, я попрошусь в перевод, в здешние полки.

– Не делай этого! Мужайся, Базиль: тебя зовет долг службы, спасение родины; честно ей послужи. Я люблю тебя и, верь, другого не полюблю. Буду счастлива при мысли, что ты исполнил свое призвание, как истинный, честный патриот. Так жалки другие, бежавшие по деревням, мужья, братья, женихи... О, ты выше их!

– Но, ради бога, помедли, не уходи, – молил Перовский, – еще слово...

За дверью послышались шаги. Аврора накинула на лицо вуаль. У порога показался слуга.

– Так до свидания, – сказала Аврора, – мужайся, увидимся.

– Я тебя провожу, – ответил Базиль.

Он подал ей руку, и они направились к Бронной. Начинался бледный рассвет. Улицы были еще пусты. У Ермолая Базиля и Аврору обогнал кто-то на дрожках. Им было не до него.

Утром ямская тройка лихо мчала Перовского и Митю по дороге к Можайскому. Базиль покрывал поцелуями платок, оброненный Авророй у него в комнате.

В Новоселовке путники пробыли около суток. Заведовавший здешним хозяйством Усовых староста Клим, жалуясь, по обычаю, на неурожай и на тяжелые времена, кое-как, с недочетами, собрал и снес молодому барину с крестьян не раз отсрочиваемый оброк. Няня, Арина Ефимовна, успела напечь Мите и его гостю пирожков, лепешек и прочего съестного, каждому на дорогу особо, так как приятели далее ехали по разным путям. Чемоданы были окончательно уложены, все увязано и вынесено в переднюю. Илья Тропинин просил Перовского наблюдать за последними сборами и отъездом Мити из деревни, которую последний особенно любил.

– А уж ты, батюшка Митенька, воля твоя, – говорила Ефимовна, суетясь на расставанье и со слезами ходя из комнаты в комнату со связкой ключей у пояса, – не беспокойся; мы и родительский твой домишко, и весь ваш хозяйский скарб, как мебель и вещи в доме, так и всякие припасы в кладовых, сбережем и сохраним в целостности нерушимо. А кроме братца, Ильи Борисовича, и будущая хозяйка вот их милости, Василия Алексеевича, – невесть что за даль любановская усадьба – авось наведается сюда, даст нам порядок. И княгиня-матушка на крестинах правнука увидела меня в экономкиной светелке и говорит: «Ты у меня, Ефимовна, тоже смотри; я и из Москвы глазастая; чтобы все господское у тебя было в порядке; старый твой хозяин ныне живет за Волгой, а его сын едет в поход, ему не до того, и бог весть еще, когда сядет у вас на хозяйство, – смотри!»

– Будь спокойна, Ефимовна, – ответил Митя, – за тобой мы все ни о чем и не думаем.

Арина утерла слезы и гордо обдернула на груди концы платка.

– И я тебе, голубушка няня, скажу, – прибавил Митя, – вернусь из похода, вот он женится, все они приедут в Любаново, в Ярцеве у них дом меньше и не так устроен, и я тоже женюсь вслед за Базилем – найду невесту непременно – и поселюсь здесь... Вот в этой зале отпируем и свадебный пир.

– Ну, тебе бы, Митенька, еще и рано, послужи! – всхлипывала Ефимовна.

Сборы были кончены к вечеру. Кибитки Мити и его гостя стояли нагруженные у крыльца. Выбившаяся из сил Арина, плача, клала туда последние узелочки и улы.

– Да чего ты, Ефимовна, плачешь? – спросил Перовский, стараясь быть бодрым и веселым при проводах порученного ему товарища. – Вот, оглянись, Дмитрий, – обратился он к белокурому, кудрявому юноше, уже сидевшему в телеге на горе узлов, – взгляни еще раз, как обновлен и прибран ваш родовой угол; и все это твоя няня, все она. Я рад, что вы с нею снова наладили дедовское гнездо; точно заботливые тени бабки и деда еще витают здесь, в их любимой когда-то Новоселовке.

– Ах, я так счастлив, счастлив! – произнес Митя. – Затратил на поправки, зато надолго, до собственных моих внуков, опять наладил! А как мы здесь зимой чертили планы? вот было весело!

– Запомни же все! – продолжал Базиль. – Я сам, некогда уезжая из родного гнезда, старался подолее глядеть вокруг, чтобы запомнить малейшие черты дорогих мест. Я убежден, что если не нынче же летом, то уж осенью, в августе или сентябре, этот угол, даст бог, непременно встретит здесь нас обоих таким же уютным и гостеприимным, каким он, вероятно, встречал когда-то и твоих родителей. Едва объявится мир, возьмем отпуск, а не то и выйдем в отставку и заживем. Любаново – рукою подать, будем видеться... Помни же, осенью, не далее сентября.

– Да отдай, няня, починить мое охотничье ружье, оно в шкафу, знаешь, там, где мои тетради, книги и удочки! – крикнул Митя, смигивая слезы и стараясь тоже говорить весело и держаться молодцом. – И лазариновские дедушкины пистолеты в чехлах; там тоже уздечки, знаешь? Ну, мне налево, тебе направо... Прощай, голубчик Базиль, до осени... оба женимся непременно и заживем!..

Няня, утираясь, только махала рукой. Митя уехал. Он улыбался, издали крестя приятеля и Арину и не спуская глаз с родного, обитого новым тесом, домишки, стоявшего среди берез на холме, с зеленого сада и крылатой мельницы с тучею голубей, вившихся над ними. Все это понемногу скрылось за другими холмами. По совету друга, Митя усиливался до последнего мгновения, до поворота за ближний лес запомнить в душе все эти дорогие места, где он родился и где, под наблюдением Ефимовны, подрос, пока, по просьбе его отца, Ильи Тропинин пристроил его в ученье, а потом на службу в Петербург.

## IX

Проводив Митю, Перовский позвал старосту Клима, белолицего, благообразного и расторопного мужика с добрыми и умными глазами. Смеркалось. Базиль расспросил Клима о ближайшем проезде на Смоленскую дорогу и на усовской тройке, а далее на почтовых выехал мимо тонувших в ночной полумгле, на холмах и в долинах, окрестных деревушек и сел. Невдали от Новоселовки, при переезде через какой-то мост, он спросил возницу, что за здания виднеются в темноте.

– Бородино, – ответил возница.

– Большое село?

– Да, сударь. Оттелева Митрий Миколаич добыл прошлый год голубей... у отца Павла повсегда важнеющие...

Памятно впоследствии стало это село Перовскому и всей России.

Лошади мчались.

«А она-то, моя владычица, мой рай! Что с нею? – думал Базиль, погруженный в мечты о последнем свидании с Авророй. – Да, наше счастье прочно, ненарушимо... Как она любит, как предана мне!»

Грезы сменялись грезами. Перовский перебирал в уме свое прошлое. Ему с живостью представилось его детство, богатое черниговское поместье Почеп, огромный, выстроенный знаменитым Растрелли дом, возле дома – спадавший к реке обширный сад и сам он, ребенком бегающий по этому саду в рубашечке. Он вспоминал свою мать, Анну Михайловну, высокую, румяную, с черною косой, чернобровую красавицу из должностных хозяина поместья. Он с нею и с братьями жил в отдельном флигеле, невдали от большого дома. Здесь его учили грамоте.

В отроческие годы Базиля граф, владелец Почепа, лишь изредка жил в большом доме. Дети Анны Михайловны в то время видели его только в церкви или из окон флигеля, когда он с пышностью, провожаемый слугами, выезжал по хозяйству или к соседям. Тенистые дорожки сада, красивые беседки, клумбы цветов и лабиринт из пирамидальных тополей, где мальчишки, в отсутствие графа, прятались, играя с детьми других должностных графа, – все это в воспоминаниях Базиля невольно сливалось с слезами матери. Анна Михайловна нередко, безмолвно поглядывая из окна флигеля на большой, то пустынный, то с приездом графа ярко освещенный дом, обнимала детей и со вздохом говорила: «Соколы мои, соколы! Что-то с вами будет?»

В памяти Перовского особенно сохранилось одно событие. То была поездка его матери в какой-то отдаленный монастырь. Граф долго не приезжал из Петербурга, где, как все говорили, он занимал важное место. Анна Михайловна снарядилась, взяла с собой Васю и его старшего брата Льва и с ними в бричке, на долгих, выехала на богомолье. Раскачиванье уложенной перины и подушками просторной брички, мерный бег тройки сытых, весело фыркающих саврасок, раздольные поля, полные запахом цветущих трав, песни жаворонков, ночлеги в хуторах, дремучий монастырский лес, оглашаемый у реки соловьиными свистами, и долгое моление в старом, окуренном ладаном храме, где усталый Вася, прикорнувшись за колонной, заснул, – все это ему вспоминалось живо, как и радость матери по их возвращении домой.

Вскоре после их приезда в Почеп прибыл на летний отдых и граф. На другой день по его водворении в Почепе Анну Михайловну и ее сыновей позвали к нему в дом. Мальчишек принарядили и ввели в графский кабинет. Граф сидел в лиловом бархатном халате, напудренный, красивый и величавый. Секретарь кончил доклад и уносил бумаги.

– Молодцы! – сказал граф, посмотрев на черноглазых мальчуганов, бойко прочитавших ему наизусть оду Державина, и расцеловал их.

Оправив на себе кружевной шарф и манжеты, он дал детям по кошельку с дукатами и сказал:

– Это вам на орехи, в память вашего покойного отца; он был мне верным другом и слугою. Я дал ему слово заботиться о вас, сиротах. Надо учиться более; поедете в Москву.

Дети весело разглядывали кабинет, убранный редкими картинами, охотничьими приборами, чучелами птиц, вазами и статуями. Стоявшая у порога их мать отирала радостные слезы. Старшего из сыновей Анны Михайловны увезли ранее, Васю – несколько позже. К нему представили выписанного из чужих краев гувернера и с ним отправили его в Москву, где сперва поместили в частном пансионе, потом определили в университет.

Вася еще по девятому году в Почепе, от какого-то пьянчужки, сельского писаря из семинаристов, узнал, что граф – его отец, но этого не признает, так как очень знатен, живет возле царя в Петербурге и занимает там место министра.

– Но разве министрам запрещено иметь детей? – спросил писаря удивленный Вася.

– Дубина ты, стульгус<sup>9</sup>, и больше ничего; значит, что нельзя! – ответил сельский грамотей.

Проболтавшись об этом разговоре матери, Вася от нее услышал, что граф будет очень гневаться и лишит их всех своих милостей, если они станут рассказывать о родстве с ним. С той поры на вопросы товарищей и знакомых, кто его отец, Перовский отвечал:

– Я – сирота с детства; мой отец, украинский хуторянин, служил в Малороссии управляющим одного графа и давно умер...

Выдержав последний экзамен в университете, Вася написал о том радостное письмо матери и с нетерпением собирался ехать к ней на родину, где не был около семи лет. Ему рисовался Почеп, тенистый сад, дорогой флигель, свобода. Но к нему на квартиру, где он жил с Ильей Тропининым, явился незнакомый старичок чиновник, в сером фраке, с сахарною улыбочкой и хохолком на голове, и, поздравив его от имени графа, объявил, что он, Перовский, милостью высокого покровителя уже определен на службу в колонновожатые, то есть в свитские, и что ввиду этого граф советует ему, дабы не потерять места, без замедления ехать в Петербург. Чиновник вручил ему при этом нужную сумму на обмундирование и на отъезд к месту служения и, откланиваясь, спросил, когда же Василий Алексеевич располагает ехать, так как о том должно дать знать его сиятельству. Базиль подумал и ответил:

– Через неделю.

Как ни уговаривал его Илья Тропинин обождать, еще повеселиться, где-то охотиться и притом, в компании других кончивших учебу студентов, варить жженку, Базиль в назначенное время оставил Москву. Он сгорал нетерпением увидеть Петербург и отца.

«Теперь граф, наверное, признает меня! – в трепетном восторге мыслил Базиль. – Я уже более не почепский хуторянин, а получивший высшее образование офицер! Отец с гордостью, если не даст еще мне своего имени и графского титула, о чем я, разумеется, и не мечтаю, назовет меня, хоть наедине, хотя глаз на глаз, своим сыном... и у меня будет отец... да какой еще отец! Как все хвалят высокие его дарования, любовь к наукам и искусствам, честь и ум! Он снимет с меня запрет – хоть для наших личных сношений... Я поселюсь у него, буду близко ежедневно видеть замечательного государственного деятеля; я брошусь к нему, он прижмет меня к своей груди!»

Ожидания Базиля сбылись. Но граф-отец, вероятно, избегая до времени превратной огласки и пересудов, не нашел еще возможным поселить у себя сына в Петербурге. К Базилю в гостиницу, после первого радостного его свидания с отцом, когда он, весь возбужденный, был наверху блаженства, явился тот же бывший в Москве старичок чиновник, оказавшийся одним из служащих в домовый канцелярии графа, ласково расспросил его, где он думает найти квартиру, доволен ли службой и начальством и не нуждается ли еще в чем-либо приватном. Но тут же дал Базилю понять, что недалекое, более утешительное будущее вполне зависит от

---

<sup>9</sup> Глупец (от *lat. stultus*).

двух предметов: от его скромности вообще и от умолчания в особенности насчет каких-либо его отношений к графу-министру. Базиль с болью в сердце объявил, что беспрекословно преклоняется перед волею графа-отца.

Его, по письму Ильи Тропинина, отыскал в Петербурге незадолго перед тем выпущенный из московских кадет также в колонновожатые, двоюродный брат Ильи Дмитрий Николаевич Усов, которого он изредка видел еще в Москве. Базиль сошелся с ним, полюбил его, как и его родича Тропинина, и почти с ним не расставался. Когда минувшею весной Перовский в Москве, на балу у Нелединских, увидел Аврору и первому Мите высказал наполнившее его чувство к ней, Митя побледнел, потом вспыхнул и крепко пожал ему руку.

– Слушай, Перовский! – сказал он ему. – Это такая девушка, такая... если бы брат Илюша не был женат на ее родной сестре, понимаешь ли?... она была бы... я все отдал бы, все... Отец Ильи крестил меня, мы – братья и по кресту... Еще на его свадьбе, год назад, я сообразил и все терзался... А теперь охотно уступаю этот клад, это сокровище тебе... Илья тоже тебе поможет!

– Да с чего же ты взял, что это серьезно? – удивился, также краснея, Базиль. – И что такое бальная встреча? Мало ли кого мы встречаем...

– А вот увидишь, – произнес Митя, – я убежден, попомни мое слово, – Аврора будет твоя. Предсказание Мити сбылось. Базиль ехал в армию счастливым женихом Авроры.

Из Можайска Базиль должен был взять почтовых и оттуда ехать в главную квартиру Первой армии, в Вильну. Рассчитывая время, он боялся, что Барклай-де-Толли мог уже оттуда двинуться к западной границе.

Он вошел на станцию, отыскал комнату смотрителя и, вручив последнему свою курьерскую дорожную, потребовал лошадей. Смотритель вышел и опять возвратился.

– Лошади будут сейчас готовы, – сказал он как-то смущенно, – только вас здесь спрашивают какие-то господа... они только что приехали.

– Кто? где они?

Смотритель указал на общую станционную комнату. Базиль вошел туда. Освещенный тусклым огарком, с дивана встал высокий, тощий и желтолицый господин в черной венгерке с серебряными пуговицами. Базиль отступил: перед ним стоял «гусар смерти», эмигрант Жерамб. Сзади него виднелись двое незнакомых штатских: юноша – в модном рединготе и пожилой – во фраке.

– Вы удивлены? – произнес по-французски Жерамб. – Я сам крайне смущен этою неожиданною встречей... Ехал вот с этими господами в поместье одного из них, но узнал, что вы здесь... и потому...

– Что же вам нужно? – сухо спросил Базиль.

– Господин Перовский, вы понимаете, – продолжал с дрожью в голосе Жерамб, – мы шли по одной дороге к честной, надеюсь, цели...

– О чести на этот счет предоставьте судить мне.

– Согласен... вы имели более успеха, я преклонился, был готов отступить, даже отступил...

– Далее, далее! – вскрикнул, теряя терпение, Базиль.

Жерамб на миг остановился. Его впалые глаза сверкали, нижняя челюсть вздрагивала, руки судорожно сжимались. Штатские молча поглядывали на него.

– Вы понимаете, господин Перовский, – произнес он, – два дня назад я вас видел рано утром с одною дамой... она еще не ваша, но вы ее преследуете, ходите с нею наедине...

– Я не подозревал, что у нее такие добровольные, непрошенные соглядатаи.

– Что вы этим хотите сказать? Я... требую...

Базиль смерил Жерамба глазами.

– Удовлетворения? – спросил он. – Дуэль?

– Именно... вы понимаете, между честными людьми...

– Где, здесь?

– Теперь же, без отлагательства.

– Но вы, полагаю, поймете: теперь война; притом у меня здесь нет секундантов.

– Один из этих господ, – Жерамб указал на юношу, – может быть в этом случае в вашем распоряжении.

– К незнакомым не обращаются с такими предложениями, – ответил Базиль, – наконец, знайте: то моя невеста.

Жерамб захохотал. Базиль бросился к нему. Дверь отворилась.

В комнату вошли двое других проезжих: пожилой пехотный офицер и средних лет военный доктор Миртов, знавший Базиля по Петербургу. Они также ехали в Первую армию. Предупрежденные зрителем, они вмешались в ссору и прекратили ее. Базиль повторил Жерамбу, что он к его услугам. Дав ему свой адрес, он уплатил зрителю прогоны, поклонился и вышел на крыльцо. Красивый, полный и всегда веселый доктор Миртов, уладив столкновение, старался успокоить взволнованного Перовского.

– Охота вам расходовать силы и храбрость на этого воплощенного мертвеца! – сказал он. – Впереди у нас столько живых врагов.

Базиль, пожав ему руку, сел в тележку.

– Не забудьте же, после войны! – крикнул ему с крыльца все еще кипятившийся Жерамб.

– К вашим услугам, – ответил, кланяясь ему и Миртову, Перовский.

Телега помчалась. Прислушиваясь к колокольчику, Базиль с замиранием сердца вспоминал свой отъезд из Москвы и прощание с Авророй.

«А этот, этот! – не унимался он. – Вздумал напугать, отнять ее у меня! Нет, никто теперь нас не разлучит, никто».

## X

Прибыв в штаб Первой армии, Перовский уведомил невесту, что доехал благополучно, что все говорят о неизбежной войне, – войска в движении, – но что еще ничего верного не известно.

Москва между тем начинала сильно смущаться. Газеты, в особенности «Устье Эльбы» и «Гамбургский курьер», приносили тревожные известия. Война становилась очевидною и близкою. Все знали, что государь Александр Павлович, быстро покинув Петербург, более месяца уже находился при Первой армии Барклая-де-Толли, в Вильне. Но все эти толки были еще шатки, неопределенны.

Вдруг прошла потрясающая молва. Стало известно, что после майского призыва к полкам всех отпускных офицеров из Вильны к графу Растопчину примчался с важными депешами фальдъегерь. Сперва по секрету, потом громко, наконец заговорили, что Наполеон за несколько дней перед тем без объявления войны с громадными полчищами неожиданно вторгся в пределы России и уже без боя занял Вильну. Шестого июля, с новым государевым посланцем, Растопчину было доставлено воззвание императора к Москве и манифест об ополчении, причем стал известен обет государя «не вкладывать меча в ножны, пока хоть единый неприятельский воин будет на Русской земле». Вспоминали при этом слова императора, сказанные по-французки за год перед тем о Наполеоне: «Il n'y a pas de place pour nous deux en Europe; tôt ou tard, l'un ou l'autre doit se retirer!» («Нет места для нас обоих в Европе; рано или поздно, один из нас должен будет удалиться!»). Шестнадцатого июля и сам государь Александр Павлович явился наконец среди встревоженной и восторженно встречавшей его Москвы. Государь, приняв дворянство и купечество, оставался здесь не более двух дней и поспешил обратно в Петербург, откуда, по слухам, уже снаряжали к вывозу в Ярославль и в Кострому главные ценности и архивы.

Москва заволновалась, как старый улей пчел, по которому ударили обухом. Чернь толпилась на базарах и у кабаков. Москвичи заговорили о народной самообороне. Началось формирование ополчений. Первые московские баре и богачи, графы Мамонов и Салтыков, объявили о снаряжении на свой счет двух полков. Тверской, Никитский и другие бульвары по вечерам наполнялись толпами любопытных. Здесь оживленно передавались новости из Петербурга и с театра войны. Дамы и девицы приветливо оглядывали красивые и новенькие наряды мамоновских казаков. Победа у Клястиц охранителя путей к Петербургу, графа Витгенштейна, в конце июля вызвала взрыв общих, шумных ликований. Белые и черные султаны наезжавших с депешами недавних московских танцоров, гвардейских и армейских офицеров, чаще мелькали по улицам. В греческих и швейцарских кондитерских передавались шепотом вести из проникших в Москву иностранных газет. Все ждали решительной победы.

Но прошло еще время, и двенадцатого августа москвичи с ужасом узнали об оставлении русскими армиями Смоленска. Путь французов к Москве становился облегченным. Толковали о возникшей с начала похода неурядице в русском войске, о раздоре между главными русскими вождями, Багратионом и Барклаем-де-Толли. Этому раздору молва приписывала и постоянное отступление русских войск перед натиском Наполеоновых полчищ. Светские остряки распевали сатирический куплет, сложенный на этот счет поклонниками недавних кумиров, которых теперь все проклинали:

Vive l'état militaire,  
 Qui promet nos souhaits  
 Les retraites en temps de guerre,  
 Les parades en temps de paix!

(«Да здравствуют военные, которые обещают нам отступления во время войны и парады во время мира!»)

Осторожного и медлительного Барклая-де-Толли, своими отступлениями завлекавшего Наполеона в глубь раздраженной страны, считали изменником. Некоторые презрительно переиначивали его имя: «Болтай да и только». Пели в дружеской беседе сатиру на него:

Les ennemis s'avancent´grands pas,  
Adieu, Smolensk et la Russie...  
Barclay toujours´vite les combats!

(«Враги быстро близятся; прощай, Смоленск и Россия... Барклай постоянно уклоняется от сражений!»)

В имени соперника Барклая, Багратиона, искали видеть настоящего вождя и спасителя родины: «Бог-рати-он». Но последовало назначение главнокомандующим всех армий опытного старца, недавнего победителя турок, князя Кутузова. Эта мера вызвала общее одобрение. Знающие, впрочем, утверждали, что государь, не любивший Кутузова, сказал по этому поводу: «Le public a voulu sa nomination; je l'ai nommé... quant´ moi, je m'en lave les mains». («Общество желало его назначения; я его назначил... что до меня, я в этом умываю руки».) Когда имя Наполеона стали, по апокалипсису, объяснять именем Аполлиона, кто-то подыскал в том же апокалипсисе, будто антихристу предрекалось погибнуть от руки Михаила. Кутузов был также Михаил. Все ждали скорого и полного разгрома Бонапарта.

Москва в это время, встречая раненых, привозимых из Смоленска, более и более пустела. Барыни, для которых, по выражению Растопчина, «отечеством был Кузнецкий мост, а царством небесным – Париж», в патриотическом увлечении спрашивали военных: «Скоро ли генеральное сражение?» – и, путая хронологию и события, восклицали: «Выгнали же когда-то поляков Минин, Пожарский и Дмитрий Донской». – «Сто лет вражья сила не была на Русской земле – и вдруг! – негодовали коренные москвичи-старики. – И какая неожиданность; в половине июня еще редко кто и подозревал войну, а в начале июля уже и вторжение». Часть светской публики, впрочем, еще продолжала ездить в балет и французский театр. Другие усердно посещали церкви и монастыри. Певца Тарквинию и недавних дамских идолов, скрипача Роде и красавца пианиста Мартини, стали понемногу забывать среди толков об убитых и раненых, в заботах об изготовлении бинтов и корпии, а главное – о мерах к оставлению Москвы. Величием Наполеона уже не восторгались. Декламировали стихи французских роялистов: «O roi, tu cherches justice!» («Государь, ты ищешь правосудия!») и русские патриотические ямбы: «О дерзкий Коленкур, раб корсиканца злого!..» Государя Александра Павловича, после его решимости не оставлять оружия и не подписывать мира, пока хоть единый французский солдат будет на Русской земле, перестали считать только идеалистом и добряком.

– Увидите, – радостно говорил о нем Растопчин, как все знали, бывший в личной, непосредственной переписке с государем, – среди этой бестолочи и общего упадка страны идеальная повязка спадет с его добрых глаз. Он начал Лагарпом, а, попомните, кончит Аракчеевым; подберет вожжи распушенной родной таратайки...

Переписывалась чья-то сатира на порабощенную Европу, где говорилось:

А там, на карточных престолах,  
Сидят картонные цари!

Прошло около двух месяцев. Аврора усердно переписывалась с женихом. Перовский извещал ее о местах, которые проходила Первая западная армия Барклая, где он, в числе дру-

гих свитских, состоял в распоряжении командира второго корпуса, генерала Багговута. Он, среди восторженных обращений к невесте, подробно описал ей картину удачного соединения обеих русских армий и славный, хотя неудачный бой под Смоленском. Остальное Аврора узнавала от сестрина мужа, Ильи. Тропинин благодаря связям старой княгини имел возможность чуть не ежедневно навещать «клуб московского главнокомандующего», как звали москвичи тогдашние любопытные утренние съезды у графа Растопчина, где стекалось столько городского, жадного до новостей люда. Отсюда Тропинин всякий раз привозил в дом княгини целый ворох свежих вестей. Одно смущало Илью и семью княгини: они не имели дальнейших сведений о Мите Усове. Было только известно, что он встретил авангард армии Багратиона где-то за Витебском и что впоследствии, при каком-то отряде, участвовал в бою под Салтановым. Но Митя ли ленился писать или в походной суете терялись его письма, ничего более о нем не было известно.

– И впрямь влюбился на походе в какую-нибудь полячку, ну и завертелся! – утешала княгиня Илью и своих внучек.

Время шло. Аврора чуть не ежедневно и до мелочей описывала жениху московские события: общее смущение, первые приготовления горожан к нашествию врагов, арест и высылку начальством подозрительных лиц, в особенности иностранцев, растопчинские афиши, вывоз церковной святыни, архивов и питомиц женских институтов. Она сообщала, наконец, и о состоявшемся выезде из Москвы в дальние поместья и города первых, более прозорливых из общих знакомых. Другие, по словам Авроры, еще медлили, веря слепо Растопчину, который трунил над беглецами и открыто клялся, что злодею в Москве не бывать. Народ тем не менее чуял беду и волновался. Старый лакей княгини Влас Сысоич и экономка Маремьяша твердили давно: «Наделает наша старая того, что нагрянет тот изверг и накроет нас здесь, как сеткою воробьев».

Благодаря связям и подвижности зятя Авроре удавалось большинство своих писем пересылать жениху через курьеров, являвшихся в Москву из армий, ближе и ближе подходивших от Смоленска.

## XI

В половине августа Аврора написала Базилю письмо, которое тот получил во время приближения русских отрядов к Вязьме.

«Вот уже несколько дней, ненаглядный, дорогой мой, я не могла взяться за перо, – писала Аврора. – Великая новость! Бабушка наконец решилась укладываться. Суета в доме, флигелях, подвалах и кладовых была невообразимая. Сегодня, однако, вдруг стало что-то тише. Без тебя, без моей жизни, клянусь, только и утешала музыка. Я наверху у себя играла и пела, – знаешь, в той комнатке, что окнами в сад. Разучила и вытвердила данную тобой увертюру из „Дианина древа“, арию из „Jeune Troubadour“<sup>10</sup> и романс Буальдьё: „S’il est vrai, que d’être heureux...“<sup>11</sup>. Теперь же, очевидно, уже не до того. Прощайте, арии, восхитительные романсы и дуэты, которые мы с тобою распевали. Скоро прощусь и с любимой моей комнатой, где переживалось о тебе столько мыслей. О моя комнатка, мой рай! На днях я говела в церкви Ермолая; ах, как я молилась о тебе и обо всех вас, да пошлет вам господь силу и одоление на врагов! К Рас-топчину являлся некий смельчак Фигнер, великий ненавистник Наполеона, с каким-то проектом – разом, в один день, кончить войну. Граф советовал ему обратиться к военным властям. Вокруг нашего дома грузятся наемные и свои подводы – все уезжают; чисто египетское бегство. Прежде других скрылись наши неслужащие, светские петиметры. По полторы тысячи и более переполненных карет и колясок в сутки, по счету на гауптвахтах, покидают Москву. Наемные подводы сильно вздорожали. Наш сосед Тутолмин за ямскую тройку заплатил на днях триста рублей всего за пятьдесят верст. Архаровы уехали в Тамбовскую, Апраксины – в Орловскую губернии, Толстые – в Симбирск, а бедненьких институток вывезли на перекладных в Казань. По слухам, Ярославль и Тамбов так уж переполнены нашими беглецами, что скоро, говорят, не хватит и квартир. Уехали, знаешь, те – „князь-мощи“ и „князь-моська“, – словом, почти все. Я уже тебе писала, что Ксаню с ребенком в начале Успенского поста Илья отослал в бабушкину тамбовскую деревню Паншино. Сам же он еще остался здесь, на службе, как и все прочие сенатские. Им почему-то еще нет разрешения ехать. Но и в деревнях, особенно ближних к Москве, говорят, небезопасно. Крестьяне волнуются и, вместо охраны покинутого господского имущества, делят его между собой и разбегаются в леса. На днях пьяные мужики встретили, при выезде из Москвы, Фанни Стрешневу с кучей ее крошек, – помнишь, еще такие хорошенькие, ты ими любовался на бульваре, – окружили карету и кричали с угрозами: „Куда, бояре, с холопами? Или невзгода и на вас? Москва, что ли, не мила? Ну-ка вылезайте, станете и вы лапотниками!“ Ужасы! Если бы не денщики, одного раненого полковника, которые, по приказу его, вмешались и разогнали дикий сброд, неизвестно, чем кончилось бы дело. Я тогда же это осторожно передала бабушке. Она сильно испугалась и уже было велела готовить дормез и позвать священника, чтобы служить напутственный молебен, но раздумала, отправила через Ярцево в Паншино только часть подвод с главными вещами, а сама ехать отсрочила. Все убеждены, что слухи о нашествии на Москву неверны, и, повторяя чью-то фразу об отступлении наших армий: „Nous reculons, pour mieux sauter!“ („Мы отступаем, чтобы лучше броситься!“) – не изменяет образа своей жизни. Я ей вслух прочла новый, здесь полученный памфлет мадам де Сталь, которая, кстати, неожиданно появилась в Москве и на днях, удостоив бабушку заездом, целый вечер у нас проговорила, и так умно, что, хотя у меня от ее оживленных речей разболелась голова, я не могла от нее оторваться ни на минуту. Она в восторге от России и уподобляет нас произведениям Шекспира, в которых все, что не ошибка, возвышенно, и все, что не возвышенно, ошибка. Бульвары пустеют. Полны только трактиры. На прошлой неделе в ресторации

<sup>10</sup> «Юный трубадур» (франц.).

<sup>11</sup> «Если верно, что быть счастливым...» (франц.)

Тардини, а потом в трактире Френзеля посетителями-купцами были избиты какие-то штатские за то, что один из них вслух заговорил с товарищем по-французски, а другой, очевидно в нетрезвом виде, намекая на высылку Растопчиным почт-директора Ключарева, выразился: „Вот так дела!.. генерал генерала в ссылку упрятал!“ Бабушка, узнав об этом, слегла тогда в своей молельне и весь день принимала капли; когда же я ей намекнула, что благодаря извергу Наполеону далее у нас может быть еще хуже, она возразила: „Слушай же, Auogre! Я знаю Бонапарта; не раз видела его у дочки его министра Ремюза и даже с ним разговаривала лично. Это, повторяю, человек судьбы! вот его истинное определение! Он истинный гений и никогда низким грабителем и разбойником не был, как его изображает твой идол, эта трещотка госпожа Сталь, и грубые растопчинские афиши, хотя оба – и мадам де Сталь, и граф, не спорю, даровиты и остры. Не для того же, в самом деле, послушай, Наполеон, наверху славы, ведет сюда громаду Европы, чтобы обидеть здесь, в моем московском доме, меня, беззащитную старуху, да притом еще свою добрую знакомую! И Кутузов не допустит... Я нездорова, – прибавила мне бабушка, – разве не видишь? Карл Иванович дал новое лекарство... надо же посмотреть, как подействует; а в деревне, в глуши, кто поможет? И не доеду я живою в такую даль!“ Словом, дорогой мой, мы доньше не двигаемся, молимся, готовим корпию и мысленно следим за вами. Еще слово. Илья Борисович, по совету нашего можайского предводителя Астафьева, собирается на днях в Любаново, чтобы отправить и оттуда кое-что, более ценное, в Тамбовский или Коломенский уезды, и полагает, с тою же целью, проехать и в Новоселовку. Все утверждают, что эти деревни на пути врагов к Москве. Но как бы мне хотелось, чтобы бабушка отпустила с ним в Любаново и меня! В два дня на подставных можно легко возвратиться. Зато, если там услышу, что и твой отряд близится к Москве, кажется, не утерплю и без спроса, хоть верхом, брошусь встретить тебя и, если суждено, умереть за родину вместе с тобой. Голубчик Барс, отчего ты не в Любанове? Ну прощай, прощай... О, когда же наконец настанет час нашего свидания? Когда увижу тебя, мой дорогой, милый воин, когда налюбуюсь тобой? Береги себя для отечества и для любящей тебя Авроры».

Накануне Успеньева дня, вечером, в глубине двора княгини Шелешпанской экономка Маремьяша разговорилась с старым камердинером Власом. Они стояли у двери каменной кладовой, отделявшей часть сада от двора.

– Дожили мы до пределов божьего гнева! – произнес Влас Сысоич, заглядывая в дверь, которую почему-то придерживала экономка. – Служи, а тут и твоя худобишка в прах пропадет.

– А ты где был?

– Известно где, безотлучно-с в передней!.. Не уложил ни алой позументной ливреи, ни выездной шубы... ничего!

– Тебе бы, аспид, только лежать да нюхать свой табачище, мы же вон сбились с ног... Заделывай, Ванюша! – крикнула кому-то экономка в дверь. – Вот скажу княгине, что лезешь; снимет она с ножки башмачок и отшлепает тебя... незнакомо, что ли?

В сарае с минувшего дня укрывались от посторонних два нанятых каменщика. Они, тайно от посторонних, под надзором дворника Карпа, вывели поперек кладовой, от пола до крыши, новую, глухую кирпичную перегородку. За эту перегородку Маремьяша с надежными из дворни успела, с разрешения княгини, спрятать из более дорогой и громоздкой рухляди то, чего не увезли первые подводы.

– Маремьяна Дмитревна, уж уважьте, – не переставал упрашивать Влас, повертывая в руках объемистый узел.

– Что тебе? Говори...

– На смерть себе готовил... демикатоновый редингот, опять же новые сапоги, камзол, ну... и, как следует, чистую пару белья.

– Так вот твои холопские лохмотья и буду класть поверх барышниного приданого! На то, видно, его копили и хранили.

– Расташут, изверги, как придут; дайте по-христиански помереть. Княгиня не верила, все толковала: болтовня! А я сколько уговаривал, да и вы тоже.

– Уговаривал! Все вы теперь такие. А по-моему, не спрятал, не спас, – лучше сжечь, чем им, проклятым, доставаться. Ну, старый сластун, давай...

Экономка небрежно бросила каменщикам узел Власа.

– И наше, Маремьянушка, светик! – прошамкал у двери восьмидесятилетний слепой гуслист Ермил, живший здесь при дворе и давно уже не сходявший с печи.

– И наше! и мы! – отозвались голоса подоспевших к кладовой главных горничных, Дуняши, Стешы и Луши, и состоявшего в штате княгини крещеного арапчонка Варлашки.

– Эх их! Ну, куда мне с вами теперь? Еще кто? Давайте! – с досадою крикнула Маремьяша, успевшая между тем ранее других припрятать все свои нужные вещи. – Сами кладите, да скорее. А вы, ребяташки, – обратилась она к каменщикам, – так замуруйте, чтоб и виду не было свежей кладки! Спереди навалим мешков с мукою и овсом; сена и соломы, коли надо. А стенку ведите до крыши, под самый конек.

Маремьяша не удовольствовалась тайником в кладовой. Длинный и сгорбленный, вечно кашлявший дворник Карп, с бледным, покрытым пегими пятнами лицом и с такими же пегими руками, следующей ночью, по ее указанию, вырыл с садовником еще огромную яму в саду, за овощным погребом, между лип, натаскал туда новые вороха барского и людского добра, застлал яму досками и прикрыл ее сверху землей и дерном. Садовнику было велено ежедневно, во время поливки цветов, поливать и этот дерн, чтобы трава не завяла и не выдала ямы, устроенной под ней.

Последнее из писем Перовского к Авроре, от двадцатого августа, с бивака у Колоцкого монастыря, доставил адъютант Кутузова, приехавший в Москву за скорейшею присылкою врачей. Базиль извещал невесту, что армии приказано наконец становиться на позицию перед Можайском и что все этому сильно рады, так как теперь уже несомненно ждут генеральной баталии. «Но приготовься, – писал Базиль, – услышать горестную весть, которая меня как гром сразила. Бедный Митя Усов, как я сейчас узнал, опасно ранен осколком бомбы в ногу в деле на реке Осме. По слухам, его отправили с фельдшером, в коляске раненого князя Тенишева, в Москву. Сообщи это скорее Илье; встретьте бедного, пригласите заранее Карла Ивановича, если и его с другими врачами не взяли у вас из Москвы. Друг души моей! Отрада моей жизни! Увидимся ли мы с тобою, увидимся ли с ним еще на этом свете? Наш Митя Усов ранен! Этот румяный, кудрявый мальчик! Не верится... Вот оно, начинается!.. Спаси тебя, его и всех вас господь! Твой В. Перовский».

Это письмо уже не застало Авроры в Москве. Она за сутки перед тем уехала с Тропининым в Любаново.

Арапчонек Варлашка подал княгине на подносе письмо Перовского.

– Мать пресвятая богородица! Французы у Можайска! – вскрикнула Анна Аркадьевна, пробежав письмо и роняя его с очками на пол. – А она, безумица, поблизости к врагам, в Любанове... Ранен Митенька! Маремьяша, Влас! Где мои очки? Кучеров сюда! спешите!.. спасайте! барышню в полон возьмут!..

## XII

Через неделю после Успения няня Арина с внучкой Феней поздно вечером сидела на крыльчке новоселовского дома Усовых. Староста Клим и кое-кто из стариков и молодых парней мелкопоместной деревушки сидели тут же, на ступеньках. Убирая свой и господский хлеб, крестьяне замешкались и, ввиду противоречивых слухов, не решались уходить вслед за другими. Сидя здесь, они толковали, что вести идут нехорошие, что битвы, по молве, происходят где-то уже недалеко и как бы враги вскорости не нагрянули и в Новоселовку. Кто-то, проезжавший в тот день из окрестностей Вязьмы, сообщил, что там недавно уже слышали громкую, хотя еще отдаленную пушечную пальбу.

– Ведь вот барина старого нет, он за Волгой. Что делать? – толковали крестьяне. – Приказу от начальства уходить тоже нету; как тут беречь господское и свое добро?

– Да и куда и с чем уходить? – сказал кто-то. – Татаринцы двинулись, а их свои же в лесу, за Можайском, и ограбили.

– Надо ждать, ох, господи, – объявил Клим, – без начальства и уряда не будет; объявятся, подождем.

В тот день Арина что поценнее перенесла в амбары и в кладовые. Часть вещей, которых она пока не успела спрятать, лежала у ближней кладовой, на траве.

Давно стемнело. Месяц еще не всходил.

– А что, бабушка Ефимовна, скажу я тебе слово! – прокашливаясь, отозвался с нижней ступеньки подвижной и еще не старый, хотя совершенно лысый мужичонка Корней, ходивший по оброку не только в Москву, но и в Казань и даже в Петербург. – Не обидитесь?

– Говори, коли не глупо и к месту, – с достоинством ответила Арина.

– Слышать, бабушка, – начал Корней, – быдто Бонапарт так только Бонапартом прозывается, а что он – потайной сын покойной царицы Екатерины; ему матерью было отказано полцарства, и он это пришел ныне судить за своего брата Павла, царевого отца.

– Толкуй, дурачина, пока не урезали языка, – притворно зевнув, возразил староста Клим. – Статочное ли дело? Эка брешут, собачьи сыны!

– Право слова, дяденька... и быдто того Бонапарта бояре, до случного часа, прятали, держали в чужих землях, а ноне и выпустили... он всему свету и объявился... идет за брата судить.

– Эй, не ври! – важно поглаживая бороду и взглянув на Арину, сурово перебил Клим. – Кругом такая смута, врага ждут, а они...

– На что же его выпустили? – с некоторою тревогой спросила Ефимовна.

– Отдай, мол, мою половину царства, – продолжал рассказчик, – а тебе будет другая; и я, мол, в своей освобожу мужиков... отдам им всю землю и все как есть вотчины... и быдто станем мы не царскими слугами, а Бонапартовыми... вот убей, толкуют!

– Ну, влепит тебе, Корнюшка, исправник, как наедет, и я скажу! – произнесла, вставая и оправляя на себе платок, Арина. – Вот так-то, прослышав, наспеет невзначай, да и гаркнет: «А где тут Бонапартовы подданные? Давай их сюда!» Ну, тебя первого под ответ и возьмет.

Мужики, почесываясь, замолчали. Слышались только вздохи да движение на ступенях стоптанных лаптей.

– А постой, дяденька, постой, – отозвался кто-то, – из-за мельницы, – бабушка быдто колеса... чуть не на лесорах...

Все замерли, вглядываясь в темноту. Стали действительно слышны звуки колес, медленно подъезжавших к двору.

– Феня, свечку! – крикнула Арина, бросаясь в дом. – Клим Потапыч, отворяй ворота... так и есть, наш исправник... Не то телега, не то, кажись, его бричка...

Когда Ефимовна и Феня со свечами снова явились на пороге, у крыльца стояла сильно запыленная крытая телега. Мужики, в почтительном молчании, без шапок, окружали кого-то бледного, неподвижно лежавшего на соломе, в телеге. Клим, жалобно всхлипывая, целовал чью-то исхудалую руку, упавшую с соломы. Арина поднесла свечу к лицу подъехавшего и, ахнув, чуть не упала.

– Митенька, родной ты мой! – вскрикнула она, глядя на лежавшего в телеге.

– Узнала, голубушка, – раздался чуть слышный, детски кроткий голос, – ну, вот и довели... Слава богу, дома! А уж я просил, боялся, не доеду... Воды бы, чайку!.. Жажда томит...

В телеге был раненый Митя Усов. Мужики, пошептавшись с Климом, бережно внесли его в комнаты. Более же всех суетился и старался, неся молодого барина, говоривший о Бонапарте лысый Корней.

– Так это – Митрий Миколаич? Бедный! Ну, точно с креста снятый! – говорил он, выйдя в девичью и утирая слезы.

– Мы двух везли, – толковал здесь Климу фельдшер, умываясь, – подполковника тоже, князя Тенишева; сперва ехали в князевой коляске...

– Где же князь-то? – спросил Клим.

– Сложили в Гжатске, помер... ваш про то и не знает, думает, что того велено сдать в госпиталь... коляска же обломалась, насилу нанял мужичка довести.

– А наш ангел будет ли жив? – несмело спросила Ефимовна. – Молодой такой, красавчик, мой выходимец! Вот неожиданное горе, вот беда! И за что погубили дите?

– Будет жив, – ответил фельдшер, как-то смущенно глянув в сторону красными от бессонницы и пыли глазами. – Рана тяжела, ну да господь поможет... добраться бы только до Москвы: там больницы, лекаря.

Арина, глянув на образ, перекрестилась, крикнула еще кое-кого из дворовых баб и с засученными рукавами принялась за дело. Комнаты были освещены. На столе в зале запыхтел самовар. Наумовна достала из кладовой и взбила на кровати покойной барыни пуховик и гору подушек, велела внести кровать в гостиную, накрыла постель белой простыней и тонким марселевым одеялом, освежила комнату и покурила в ней смолкой. Сюда она, с помощницами, перенесла и уложила Митю. Фельдшер обмыл его страшную, зияющую рану, сделал перевязку и надел на больного чистое, вынутое няней и пахнувшее калуфером и мятой белье.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.